

СВОРА:
Моя богиня

Рея Бёрн

Рея Бёрн

Свора: Моя Богиня

<https://litres.ru/74422119>

Аннотация

Мой новый тренер по кикбоксингу носит тонкие очки и читает Сартра, чтобы никого не убить.

Я привыкла к сбитым костяшкам, агрессии и «стеклянному» взгляду матери, которая закрывает глаза на ад в нашем доме. Моя единственная цель — защитить младшую сестру. У меня нет времени на нежности, а чужая мягкость вызывает у меня только презрение.

Поэтому, когда в моем зале появляется Марат — двухметровая гора мышц с вежливой улыбкой «цветочного мальчика», — меня начинает трясти от ярости. Он не отвечает на провокации. Он анализирует мои срывы как математическую задачу. Он идеальный, спокойный и абсолютно ледяной.

И я хочу заставить его злиться, потому что под его очками есть что-то, что не дает мне покоя.

Но есть и то, о чем я не знаю: его маска хорошего мальчика — это не трусость. Это клетка для первобытного зверя, которого выдрессировали ломать кости. И когда монстры из моего прошлого выбьют мою дверь, я пойму, что самый страшный хищник всё это время спал у моих ног.

Дорогие, замечательные, прекрасные, потрясающие дамы!

Давайте договоримся: с меня главы, с вас фидбек. Мне жизненно необходимы ваши отзывы, я спать не могу, потому что не знаю, что у вас в головах при прочтении. Пожалуйста, не стесняйтесь ♥️#

Содержание

Глава 1. Рина: Отказ	5
Глава 2. Марат: Алгоритм	19
Глава 3. Рина: Танька	40
Глава 4. Марат: Тишина	57
Плейлист к книге	80
Глава 5. Рина: Анализ	84
Глава 6. Марат: Сбой Системы	108
Глава 7. Марат: Белый ужас	121
Глава 8. Рина: Раздевалка	145
Глава 9. Марат: Термодинамика	161
Конец ознакомительного фрагмента.	162

Глава 1. Рина: Отказ

— Ты меня бросаешь.

— Не драматизируй.

— А как по-твоему это называется, когда человек собирает вещи и уезжает навсегда?

— Рина...

— Самый важный мужчина в моей жизни говорит, что больше мы не будем видеться.

Миша закрывает глаза и трёт переносицу — жест, от которого у меня всегда сводит челюсть, потому что он означает: сейчас будет что-то правильное и взрослое, от чего захочется кого-нибудь ударить.

— Теперь это звучит совсем абсурдно, — говорит он.

— Но это правда!

— Прости. Я не могу остаться. У меня есть семья, и мои супруга с дочерью уже не могут дожидаться отлёта.

Я рычу — не метафорически, а вполне буквально, низко и сипло, как подбитая собака, — и топаю на месте обеими ногами, и мне плевать, что со стороны это выглядит как истерика пятилетки в «Пятёрочке». Миша — единственный человек на этой планете, перед которым мне не стыдно быть идиоткой. Был единственным. Теперь уже был.

— Вот так просто берёшь и бросаешь свой лучший актив? Будущую чемпионку?

Миша фыркает. У него мягкий, какой-то отцовский смех — хотя ему всего тридцать четыре, и он скорее похож на старшего брата, из тех, что таскают тебе мандарины в больницу и молча сидят рядом, пока ты ревьешь в подушку.

— Мне нравится твой оптимизм. Продолжай в том же духе.

— Буду продолжать. Без тебя. Одна. Как дура.

Он не отвечает сразу. Просто смотрит — и в этом взгляде нет жалости, а есть что-то гораздо, гораздо хуже: спокойная уверенность человека, который уже всё решил и знает, что решил правильно, и никакое моё рычание ничего не изменит.

Мне двадцать лет, и у меня ровно полтора человека, которым я доверяю: двенадцатилетняя сестра и вот этот широкоплечий мужик с вечно развязанным шнурком на левом кроссовке, который два года назад посмотрел, как я мочалю грушу, и сказал: «Злость хорошая. Техника — говно. Будем работать». И мы работали. Каждый день, шесть дней в неделю, пока мои костяшки не стёрлись до розового мяса, а потом покрылись жёлтой коркой мозолей, а потом снова стёрлись. Он ни разу не пересекал черту. Ни разу не полез с распросами. Просто ставил мне удар — и это было достаточно. Это было всё, что мне нужно от мужчины: чтобы он стоял рядом, держал лапы и не задавал вопросов.

А теперь он уезжает в Казахстан, потому что его жена скучает по родителям, а дочке пора в школу, а жизнь, оказыва-

ется, не возвращается вокруг моей злости и моих разбитых кулаков.

Какая неожиданность.

— Не переживай, — говорит Миша, и я ненавижу эту фразу каждой клеткой. — Сегодня придёт твой новый тренер.

— И ты правда веришь, что я найду с ним общий язык?

Миша смотрит на меня долго. Непривычно долго, как будто запоминает — или как будто выбирает слова, а он никогда не выбирает слова, он вообще немногословный, именно за это я его и ценю.

— Он хороший парень. Дай ему шанс. У вас с ним больше общего, чем ты думаешь.

Я скриплю зубами так, что эмаль наверняка трескается. Миша подхватывает сумку с пола — потёртый чёрный баул, в котором всегда пахло разогревающей мазью и мятными леденцами — закидывает лямку на плечо и на секунду сжимает мне макушку ладонью. Так, как делал после каждого спарринга, когда я не проигрывала: быстро, крепко, без сентиментальности.

— Пока, Фаттахова. Не убей никого до его прихода.

Дверь за ним закрывается с мягким пневматическим вздохом.

И вот тогда накрывает.

Не сразу — сперва секунда тишины, абсолютной, хирургической, как будто кто-то вырезал из воздуха все звуки. А

потом они возвращаются разом: гул кондиционера, шлёпанье скакалок, тупой ритмичный стук чьих-то перчаток по мешку — и каждый из этих звуков бьёт прямо в солнечное сплетение, потому что они все на месте, всё на месте, а его — нет.

Пальцы начинают дрожать.

Я сжимаю рукоятки скакалки, пока костяшки не белеют, пока кожа не натягивается на суставах тонким фарфором. Микротремор — мой личный предатель, он всегда сдаёт меня, когда я пытаюсь сделать вид, что мне нормально. Дрожь ползёт от кончиков пальцев к запястьям, и мне хочется ударить что-нибудь — стену, грушу, собственное бедро — просто чтобы вернуть себе хоть какой-то контроль над собственным телом.

Я дышу.

Считаю выдохи. Один. Два. Семь. На одиннадцатом дрожь отступает, но внутри остаётся холодная, влажная пустота, как в подъезде зимой.

— Эй, Медуза.

Костян. Конечно. Кто же ещё. Костян — сто восемьдесят пять сантиметров посредственной техники, гонора размером с Юпитер и хронического неумения заткнуться в нужный момент. Он стоит у ринга, обмотанный бинтами по локоть, и ухмыляется так, что хочется впечатать в эту ухмылку апперкот.

— Говорил же, с тобой ни один нормальный мужик не

захочет иметь дело. Даже Мишаня не выдержал...

— Договаривай, давай, — перебиваю я, и голос у меня ровный, спокойный, сухой. Это плохой знак. Когда я ору — я злюсь. Когда я говорю тихо — я готова калечить. — Ну? Не выдержал — что?

Костян осекается на полсекунды, но рядом стоят его прихвостни — Лёнчик и Тимур, — и отступить при них он не может, это противоречит его внутреннему кодексу дворового павлина.

— Характера твоего, Фаттахова, — вот что. Ты ж ненормальная. Гонору — на десятерых, а на соревнованиях...

— На прошлых соревнованиях я взяла серебро в своей весовой, Костя. А ты взял за щеку. Кому из нас стоит поработать над собой, как считаешь?

Лёнчик давится смешком. Тимур отворачивается, пряча лицо. Костян краснеет — не от стыда, стыд у него атрофирован, — а от злости, тёмно, с шеи вверх, как затопление.

— Следи за языком, дура.

— Ой, Костенька, давай ты не будешь начинать войну, в которой тебе нечем стрелять. Ни в ринге, ни в койке, ни в разговоре. Три-ноль не в твою пользу — обидно, но предсказуемо.

— Ты совсем...

— Слабо на спарринг?

Я говорю это легко, как будто предлагаю чаю. Скакалка свисает с моего плеча, пальцы уже не дрожат — адреналин

сожрал тремор, как кислота, — и я смотрю на Костяна снизу вверх, потому что он выше, но при этом каким-то образом умудряюсь смотреть на него сверху вниз.

Он сглатывает. Он знает, как я дерусь. Все здесь знают. Я дерусь так, будто за мной гонятся — потому что за мной всю жизнь гонятся, просто враг живёт не в подворотне, а за стенкой моей комнаты, и от этого врага нельзя убежать, можно только научиться бить так, чтобы он боялся подойти.

— Прости, — Костян скалится, пятясь, — нет времени. Тренировка. У меня, знаешь ли, тренер не сбежал.

Тимур и Лёнчик ржут. Негромко, трусливо, как гиены, которые подбираются к добыче, только когда хищник отвернулся. Я молчу — не потому, что нечего ответить, а потому что последнее слово осталось за ними, и это жжёт, как спиртовая салфетка на свежей ссадине.

Разворачиваюсь. Ухожу в дальний угол зала, к зеркалам. Разматываю скакалку.

И начинаю прыгать.

Скакалка свистит, рассекая воздух тонким нейлоновым лезвием. Я считаю обороты, но не головой — телом, подошвами, щиколотками, которые пружинят от пола с частотой метронома. На двадцатом обороте злость перестаёт быть словами и становится ритмом. На пятидесятом — ритм перестаёт быть злостью и становится чем-то чистым, механическим, пустым. На сотом я перестаю думать о Мише, о Костяне, о треморе в пальцах, о том, что ждет дома, о двери

которая закрылась. На сто пятидесятом я перестаю думать вообще, и это — единственная медитация, которая мне доступна: не тишина в голове, а такой оглушительный грохот собственного пульса, что за ним не слышно больше ничего.

Двести. Двести пятьдесят.

Триста.

Пот стекает по вискам, забирается под тугие косички, щекочет кожу у затылка. Худи липнет к лопаткам. Я чувствую каждый позвонок, каждую мышцу на икрах, каждый удар сердца в горле — и это хорошо, это правильно, потому что пока я чувствую своё тело, я в нём, я здесь, я не уплываю в ту мутную зелёную воду, где мир перестаёт быть настоящим.

Четыреста.

Скалка свистит.

Я прыгаю.

И тогда входная дверь открывается, и в зал входит человек, при виде которого я сбиваюсь с ритма. Впервые.

Он огромный. Это первое, что регистрирует мозг, ещё до лица, до деталей, до всего — просто масштаб. Он заполняет дверной проём так, что по бокам остаётся по ладони свободного пространства, не больше, и ему приходится чуть наклонить голову, входя, хотя проём стандартный и Костян проходит его не пригибаясь. Широкие плечи, от которых чёрная футболка натягивается так, что ткань бледнеет на швах. Узкие бёдра. Серые спортивные штаны сидят низко, и между нижним краем футболки и резинкой штанов на секунду

мелькает полоска живота — плоского, твёрдого, с уходящей вниз дорожкой мышц, которые я знаю по анатомическому атласу, но на живом человеке вижу в таком рельефе впервые.

Мозг автоматически классифицирует: тяжеловес, девяносто плюс, возможно, сотка. Рост — за сто девяносто, ближе к двум метрам. Мышечный корсет не качковский, не надутый — литой, функциональный, тот, что нарабатывается годами спаррингов и тяжёлой базы. Руки длинные, предплечья перевиты венами. Шаг мягкий, пружинящий, с переносом веса на переднюю часть стопы — бойцовская привычка, тело помнит стойку даже в расслабленной походке.

Всё это я вижу за секунду, может быть, за полторы, потому что сканировать мужчин при входе в любое помещение — это не привычка, это условный рефлекс, вбитый в меня так же прочно, как связка лоу-кик-мидл. Размер, скорость, дистанция до выхода — мозг считает это быстрее, чем я успеваю осознать, и результат простой: этот — опасен. Этот может навредить, если захочет. С этим я не справлюсь в прямом размене — слишком большая разница в массе.

А потом я вижу лицо.

И вот тут что-то ломается.

Потому что лицо не совпадает. Лицо — из другого фильма, из другого жанра, из параллельной вселенной, где мужчины такого размера не существуют. Мягкие, почти аристократичные черты: высокие скулы, длинные ресницы, от которых на щёки падают тени. Губы — полные, с чётко очер-

ченным изгибом верхней, — и на этих губах улыбка, вежливая, спокойная, абсолютно неуместная на теле человека, способного проломить стену.

Волосы белые. Не седые, не пепельные — именно белые, светлый блонд, как у ребёнка из скандинавской рекламы, и от этого его лицо кажется ещё светлее, ещё мягче, ещё дальше от всего, чем пахнет этот зал: от пота, от кожи перчаток, от железа и крови.

И очки. Тонкая металлическая оправка, из тех, что носят студенты-филологи и библиотекари, — и сквозь эти линзы на мир смотрят светло-серые глаза, ровные, спокойные, как горелка газовой плиты: синеватое, почти прозрачное пламя, которое не обжигает, пока не подставишь руку.

Я останавливаюсь. Скакалка бьёт меня по щиколотке, и я даже не чувствую.

Я смотрю на него и не понимаю, что вижу. Тело говорит: хищник, угроза, восемь из десяти. Лицо говорит: цветочный мальчик, игрушка для инстаграма, ноль из десяти. Между этими двумя оценками — пропасть, и мой мозг висит над ней, как сломанный GPS.

Девчонки-гимнастки у шведской стенки перестают тянуть шпагаты. Одна — Алиска, кажется — толкает подругу локтем, и они обе давятся смехом, прикрывая рты ладошками. Третья откровенно пялится, забыв закрыть рот. Я вижу это периферийным зрением, и внутри что-то неприятно дёргается — не ревность, боже упаси, — а раздражение. Рефлек-

торное, глухое, как зубная боль.

Он замечает их. Конечно, замечает — он не слепой, хотя в этих очках и выглядит как будто читает Толстого перед сном. И что он делает? Он чуть склоняет голову — по-книжному, учтиво, будто кланяется, — и на его лице появляется улыбка, которая так безупречно вежлива, что хочется проблеваться.

Я презрительно фыркаю. Громко. Достаточно громко, чтобы эхо прокатилось по залу.

А он идёт дальше. Мимо гимнасток, мимо тренажёров, мимо зеркал, в которых отражается его нелепый диссонанс — гигант с лицом ангела, убийца в оправе библиотекаря. Он двигается плавно, без суеты, без единого лишнего жеста, и от этого спокойствия мне почему-то делается холодно, как будто кто-то приоткрыл окно в ноябрь.

Он подходит к зоне, где тренируются бойцы. К моей зоне. Останавливается. Обводит взглядом ринг, мешки, стойку с перчатками, пацанов, которые тоже притихли и смотрят на него с тем же выражением, с каким дворовые коты смотрят на входящего во двор дога: не то чтобы страх, но уважительная настороженность.

И говорит — ровным, низким, тихим голосом, в котором слова звучат так, как будто он их выбирал заранее, расставлял по размеру и протирал тряпочкой:

— Здравствуйте. Меня зовут Марат. Я новый тренер по кикбоксингу.

Тишина падает на зал, как бетонная плита.

Он даёт секунду, чтобы информация дошла, осела, переменилась. Я чувствую, как внутри моей грудной клетки что-то сворачивается в тугой, горячий узел, и этот узел — не злость, нет, злость я знаю, злость — мой родной язык. Это что-то ближе к отчаянию: осознание, что мой новый тренер — ряженая кукла, принц из сёдзэ-манги, и всё, ради чего я пять лет разбивала руки в кровь, сейчас накроется, потому что я ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах не смогу воспринимать это лицо всерьёз.

— Могу я также поговорить с Мариной Фаттаховой?

Он произносит мою фамилию правильно. С ударением на второй слог, без запинки, без вопросительной интонации. И при этом — он уже смотрит на меня. Прямо на меня. Не ищет глазами по залу, не оглядывается, не спрашивает «которая из вас?». Он знает, кто я. Он понял это до того, как задал вопрос, — по моей стойке, по сбитым костяшкам, по скакалке на плече, по тому, как я смотрю на него: не с любопытством, не с интересом, а с открытой, незамаскированной враждебностью.

Серые глаза за стёклами линз неподвижны. Он не мигает — или мигает так редко, что я не ловлю момент. Улыбка сошла с его лица, и без неё оно выглядит иначе: не мягче и не жёстче, а — точнее. Как будто навели фокус.

У меня на лице — я знаю, я чувствую каждую мышцу — застывает выражение абсолютного, концентрированного презрения. Того презрения, которое я годами оттачивала как

оружие: губы чуть поджаты, подбородок вверх, глаза сужены, и в них — ледяное, непроницаемое «нет». Нет — тебе, нет — всему, что ты принёс, нет — любой попытке занять место человека, который только что ушёл.

Я смотрю прямо в эти серые линзы. Снизу вверх, потому что он выше меня на голову, а я — метр семьдесят восемь, и мне почти никогда не приходится задира́ть подбородок, чтобы встретиться с мужчиной взглядом. С ним — приходится. И от этого злость внутри вспыхивает ещё ярче, ещё гуще, как бензин на углях.

— Я отказываюсь.

Мой голос звучит ровно. Ни хрипа, ни дрожи. Чистый, плоский звук, как удар ладони по столу.

Два слова. Точка.

Он не вздрагивает. Не морщится. Не улыбается. Не поднимает бровь. Вообще ничего — его лицо остаётся таким же ровным и спокойным, как поверхность воды в ведре, и эта абсолютная невозмутимость бесит сильнее, чем бесил бы любой ответ, любая усмешка, любое «давай поговорим как взрослые люди». Потому что он не даёт мне ничего, обо что можно удариться. Никакого сопротивления. Никакой реакции. Только ровные серые глаза за стёклами и тишина, в которую проваливается мой отказ, как камень в колодец.

Где-то за моей спиной Костян хмыкает — тихо, злорадно. Я слышу это затылком.

Марат медленно — так медленно, что это похоже на за-

медленную съемку — снимает очки, и двумя пальцами, большим и указательным, аккуратно протирает линзу краем футболки. Его глаза без очков оказываются другими: больше, светлее, и в них — на одну секунду, на одну рваную, вывернутую наизнанку секунду — мелькает что-то, что я узнаю. Что-то знакомое, тёмное и тяжёлое, как свинец на дне реки.

Он надевает очки обратно.

— Хорошо, — говорит он. — Буду ждать, когда передумаешь.

Разворачивается и уходит к рингу, и спина у него широкая, как дверь, и прямая, как стена.

Я сжимаю скакалку.

Пальцы дрожат.



Глава 2. Марат: Алгоритм

Она уходит к грушам, и я смотрю ей в спину.

Не потому, что хочу. Потому что не могу перестать.

Это не интерес — интерес предполагает любопытство, а любопытство предполагает безопасность, и ничего безопасного в этой девушке нет. Это рефлекс, тот же, что заставляет следить взглядом за оголённым проводом, свисающим с потолка в мокром помещении: не отводишь глаз не потому, что красиво, а потому что если отведёшь — убьёт.

Холод ползёт по позвоночнику. Медленно, позвонок за позвонком, от затылка вниз, и я знаю этот холод, я знаю, что он означает: моё тело распознало что-то раньше, чем мозг успел это назвать. Она — воплощение всего, что я давя в себе каждый день, каждый час, каждую минуту между пробуждением и сном. Её агрессия — неупакованная, неалгоритмизированная, льющаяся через край, как вода из захлёбнувшейся трубы. Её неспособность или нежелание — я пока не знаю, что из двух — контролировать выбросы ярости. Её хаотичность. Всё это кажется мне неправильным и опасным — не потому, что я её осуждаю, а потому, что я узнаю.

Миша, видимо, решил пошутить напоследок. Подкинул мне уравнение, в котором больше неизвестных, чем переменных, и уехал в Казахстан.

Но я не собираюсь отступать. Это моя работа. Я взял её

осознанно, потому что мне нужно научиться взаимодействовать с любыми людьми — даже с теми, от которых холодеет позвоночник. Особенно с ними. Каждый такой человек — это вызов, а каждый вызов — это возможность расширить каталог. Понять ещё один паттерн. Встроить ещё один чужой хаос в свою систему координат и убедиться, что система выдержит.

Мне нужно алгоритмизировать этот хаос. Других вариантов у меня нет.

Её отказ я не принимаю близко к сердцу — но и не понимаю. Обида? Вряд ли. Обида — это реакция на конкретное действие, а я не совершал по отношению к ней никаких действий, кроме того, что назвал своё имя и произнёс её фамилию. Страх? Возможно, но страх чего? Я начинаю перебирать: её поза в момент отказа — подбородок вверх, плечи расправлены, зрачки расширены, дыхание участилось. Защитная агрессия. Она не нападала — она оборонялась. Но от чего обороняется человек, которому предлагают помощь?

От помощи. Очевидно. Если в его опыте помощь никогда не была бескорыстной.

Я фиксирую. Откладываю. Двигаюсь дальше.

Снимаю очки, протираю линзу — левую, потом правую, круговыми движениями, против часовой стрелки. Ритуал, мой личный таймер: пока пальцы работают со стеклом, мозг получает паузу, и за эту паузу я успеваю рассортировать. Разложить по ячейкам. Выдохнуть.

Очки возвращаются на переносицу. Я надеваю их — и вместе с ними надеваю лицо. Мягкое. Открытое. То, которое я выстраивал годами: каждая линия выверена, каждый угол сглажен. Улыбка — сигнал «я не угроза». Наклон головы — «я слушаю». Медленные движения — «я предсказуем». Хороший фасад. Необходимый фасад.

Я начинаю обход зала.

Ринг — шесть на шесть, канаты новые, пол просажен в дальнем левом углу. Мешки — три тяжёлых, один скоростной, два напольных. Груши потрёпанные, но живые. Кондиционер гудит на третьей скорости, воздух тяжёлый, густой от пота и разогревающей мази, и этот запах мне привычен, как запах собственной кожи — я вырос в нём, я впитал его раньше, чем научился читать.

Гимнастки занимают дальний угол. Шестеро. Они перестали тренироваться, когда я вошёл, и теперь перешёптываются и стреляют глазами с выразительностью, которую я научился распознавать, но так и не научился чувствовать. Одна — высокая, с каштановым хвостом — перехватывает мой взгляд и улыбается. Другая толкает подругу локтем. Третья прикрывает рот ладонью, но смех просачивается между пальцами.

Я знаю этот паттерн. Кокетство — базовый социальный ритуал, и я выучил его давно, методично, как учат иностранный язык: сначала грамматика, потом практика, потом — если повезёт — что-то похожее на беглость. Я возвращаю

улыбку. Чуть наклоняю голову. Не имитирую заинтересованность, но и не транслирую безразличие. Для меня это функция — вежливость, социальная смазка, не больше. Для них, судя по реакции, — что-то другое. Девушка с каштановым хвостом краснеет и отворачивается.

Со стороны груш раздаётся звук.

Громкий, резкий, демонстративный — нечто среднее между фырканием и рыком. Звук презрения, выдохнутый всем телом, всей диафрагмой. Она не просто фыркнула — она сделала заявление.

Я оборачиваюсь.

Марина стоит у груши. Руки опущены, бинт размотался с левого запястья и свисает серой лентой. Тяжело дышит — рот приоткрыт, на висках блестят капли пота, две косички выбились у лба и торчат жёстко, как антенны. Она смотрит на меня так, будто я только что совершил что-то непрости-тельное.

Я анализирую. Быстро, фоном: расширенные зрачки, напряжённые челюсти, пальцы снова подрагивают. Она видела, как я улыбнулся гимнасткам, и это вызвало резкий выброс агрессии. Почему? Связь между моей вежливой улыбкой незнакомым девушкам и её яростью — неочевидна. Нужно больше данных.

— Долго собираешься пялиться? — бросает она.

Голос хриплый от дыхания, и эта хрипотца делает фразу грубее, чем, возможно, планировалось. Или ровно настолько

грубо, насколько планировалось — с ней сложно определить, потому что у неё слишком много параллельных сигналов, и все они кричат одновременно.

Я подхожу ближе. Не вплотную — три метра. Безопасная дистанция, чтобы она не чувствовала давления, чтобы мне не нужно было повышать голос.

— Мне показалось, ты хотела что-то сказать. Реакция была довольно выразительной.

Её глаза вспыхивают — зрачок на долю секунды расширяется, заливая радужку чёрным, потом сжимается обратно, и зелень возвращается, колючая, ядовитая.

— Разве что то, что за флиртом люди приходят, может, в тренажёрки, — она цедит каждое слово отдельно, как сплёвывает, — а сюда люди приходят пахать. Но у меня не было на твой счёт больших ожиданий.

Я обрабатываю. Раскладываю, привычно, как разбираю на части механизм.

Обвинение во флирте — ложное, я не флиртовал. Но она прочитала улыбку именно так. Значит, в её картине мира мужская приветливость по отношению к женщине равна сексуальному интересу. Это говорит не обо мне — это говорит о мужчинах, на основании которых она делала выводы.

Второй слой: «не было больших ожиданий». Она вынесла мне приговор до суда. Я не выгляжу как боец — по её стандартам. Потому что улыбаюсь, ношу очки, не хамлю. В её системе координат боец — это грубость и видимая опасность.

Всё остальное — слабость.

На ринге раздаётся гогот. Крупный парень, которого я отметил при сканировании зала — сто восемьдесят пять, около девяноста, рыхлая стойка, самоуверенность на десять из десяти при технике на три — развалился на канатах и ржёт.

Рина переключается мгновенно. Щелчок рубильника — секунду назад она была направлена на меня, а теперь развёрнута к рингу, и в её голосе новая нота: низкая, вибрирующая. Не просто злость — удовольствие от злости.

— Костян, — она произносит его имя как диагноз, — я бы на твоём месте не выёбывалась. Ожиданий на твой счёт у меня не было в принципе. То, что тебя вообще выпускают на ринг — просто недоразумение. Ты этого не достоин.

Костян. Я фиксирую имя. Каждое её слово — прицельное, и она бьёт не по самолюбию, а по идентичности: не «ты плохо дерёшься», а «ты не достоин ринга». Для бойца — разница между пощёчиной и ножом.

Костян открывает рот, но она уже отвернулась. И в этот момент я замечаю, как её плечи опускаются — на миллиметр, не больше. Микродвижение, которое она сама, вероятно, не осознаёт. Усталость. Не физическая — как будто она устала от необходимости быть такой. От жизни в режиме боя, где невозможно снять перчатки даже для того, чтобы почесать нос.

Я фиксирую. Откладываю.

— Дело в этом? — спрашиваю я. Ровно, без нажима. —

Ты думаешь, мне нет места на ринге?

Она поворачивается медленно. Смотрит на меня, и её взгляд — это рентген, послойный, методичный, от мышц до намерений. Я выдерживаю. Мне проще, чем многим, выдерживать прямой взгляд, потому что я не считываю из него того, что считывают другие, — всех этих мерцающих, зыбких вещей, которые нормальные люди улавливают интуитивно, а я вычисляю по контексту, вручную, по одной.

— Я не видела тебя в деле, — говорит она, и голос чуть тише, чуть ровнее. Злость осела, и из-под неё проступило что-то другое — что-то, что она, вероятно, назвала бы здравым смыслом. — Вон Витю видела. Он хорош. Правда, только на ринге и пока не открывает рот. А тебя — не видела.

Витя. Я нахожу его взглядом: дальний угол, у стойки с перчатками. Крупный, за сотню, покатые борцовские плечи, тяжёлые руки. Мы пересекались на региональных, два года назад. Он дошёл до полуфинала, я до финала, но в разных весовых. В ринге не сходились.

— Это справедливо, — говорю я.

Она моргает. От неожиданности — её система настроена на конфликт: бросить провокацию — получить отпор — эскалировать. Согласие ломает цикл, и на мгновение она зависает, не зная, куда деть энергию, уже разогнанную для ответного удара. Пальцы сжимаются и разжимаются — бессознательно, ритмично, как будто она мнёт что-то невидимое.

Я разворачиваюсь и иду к рингу.

Витя стоит у канатов, разминая плечо круговыми движениями. Когда я подхожу, он смотрит на меня оценивающе — я выше на голову, шире в плечах, и он инстинктивно смещает вес на заднюю ногу, чуть увеличивая дистанцию. Рефлекс бойца. Хороший рефлекс.

— Витя, — говорю я. — Мы пересекались на региональных. Я Марат. Как смотришь на лёгкий спарринг? Без жёсткого контакта. Мне нужно показать залу, как я работаю.

Формулирую осознанно: «показать залу», а не «доказать». «Как я работаю», а не «на что способен». Разница — в давлении, которое фраза оказывает на собеседника. Я стараюсь, чтобы давления было ноль.

Витя оглядывается на своего тренера — плотный лысый мужик с перебитым носом и умными глазами. Тренер хмурится, подходит, наклоняется к уху. Я не слышу слов, но по движению губ читаю свою фамилию — «Вознесенский» — и наблюдаю, как меняется лицо Вити. Брови ползут вверх. Нижняя губа чуть выдвигается — оценивающий прищур. И потом — медленно, как свет в окне — по его лицу расплывается предвкушение. Он не испугался. Он загорелся. Это хороший знак: бойцы, которые загораются от сильного противника, — интересные бойцы.

— Ну давай, — говорит Витя, и в его голосе нет ни тени напряжения — чистый спортивный азарт. — Покажем залу.

Бинты. Мне нужно затейпировать руки, а своих бинтов я не взял. Не предусмотрел. Ошибка.

Я оглядываюсь. Мотки лежат на скамейке у груш, рядом с Риной.

Она стоит, скрестив руки, и наблюдает за нашим разговором с выражением, которое пытается быть безразличным и с треском проваливается: её тело развёрнуто к нам, вес смещён на переднюю ногу, голова чуть наклонена.

Я подхожу. Беру моток. Разматываю край. И протягиваю ей.

Секунда. Две. Три. Четыре. На пятой она переводит взгляд с бинта на моё лицо, и в её глазах — чистый, концентрированный зелёный яд.

— Поможешь?

Тишина — длинная, тяжёлая, как перед грозой. За эти несколько секунд на её лице проходит целый спектр: шок — брови взлетают, рот приоткрывается. Возмущение — брови обрушиваются вниз, ноздри расширяются. Подозрение — глаза сужаются, голова отклоняется назад, будто я попытался её ударить. И в самом конце — быстро, как тень от птицы — что-то, чему я не нахожу названия в своём каталоге. Что-то тёплое и растерянное, мелькнувшее и погасшее раньше, чем я успеваю классифицировать.

Она выхватывает бинт. Буквально рывком, как вырывают оружие из рук противника.

Я протягиваю ей обе руки ладонями вверх.

Она смотрит на них. И что-то в её взгляде меняется — совсем ненадолго, на вдох, — как будто она увидела то, че-

го не ожидала увидеть. Мои руки крупные, тяжёлые, даже по меркам моего тела. Широкие ладони в ссадинах, длинные пальцы, сбитые костяшки. Должно быть, она ожидала чего-то другого.

Она начинает мотать.

Жёстко. Зло. Она затягивает бинт с силой, вдавливая ткань в кожу, пережимая мелкие сосуды на тыльной стороне ладони. Она не бинтует — она наказывает. Её пальцы мелькают быстро, тысячу раз отработанные движения, но в каждом — избыточное усилие, адресованное лично мне. Она хочет, чтобы было больно. Хочет, чтобы я дёрнулся, поморщился, попросил полегче.

Я не двигаюсь. Бинт пережимает сухожилие на среднем пальце, онемение расползается по фаланге, но боль — это просто информация. Давление, локализация, намерение. Она давит сильнее, чем нужно. Намерение — причинить дискомфорт. Информация принята.

И тогда я вижу: её пальцы дрожат. Не от усилия — изнутри, мелкой вибрацией, которую она, кажется, даже не осознаёт. Тремор идёт от кончиков к запястьям и гаснет у локтей, и она стискивает бинт крепче, пытаясь задавить дрожь собственной хваткой, но от этого руки начинают трястись только заметнее — как пламя свечи, которое пытаешься закрыть ладонью, а оно пляшет от твоего же дыхания.

— Тремор? — спрашиваю я. Тихо. Без интонации.

Её руки замирают. На секунду — полная, звенящая непо-

движность, как у зверя в луче фонаря. Потом она затягивает последний виток так, что у меня белеют ногти.

— Не твоё дело, — шипит она, и впервые в её голосе нет агрессии. Есть что-то другое, что-то мокрое и испуганное, спрятанное за шипением. Она боится. Не меня — того, что я заметил. Того, что кто-то увидел трещину.

Для человека, который построил себя целиком из силы, — это катастрофа.

Я не комментирую. Тремор. Хронический, не ситуативный. Связан со стрессом. Она его стыдится. Запомнить.

— Спасибо, — говорю я, забирая руки.

Она не отвечает. Отворачивается и засовывает ладони в карман худи — прячет пальцы, как прячут улику.

Я иду к рингу.

Пролезаю между канатами. Пол пружинит — мягче, чем привык, нужно корректировать баланс. Витя в своём углу: перчатки, капа, шея перекачивается из стороны в сторону. В его позе — уважительная собранность. Он не расслаблен. Он знает, с кем будет работать. Это хорошо. Расслабленный противник — скучный противник, а когда мне скучно в ринге, мозг начинает дрейфовать, терять фокус, и тогда из-за внутренней двери может проскользнуть то, что не должно.

У канатов собрались зрители. Костян с двумя приятелями — притихшие, глаза чуть шире обычного. Информация о моей фамилии расплзлась быстро.

— Очкиними, — говорит Витя, кивая на мою оправу.

Голос глухой из-за капы. — Осколки в глаза полетят.

Практичный совет. Логичный.

— Не полетят, — говорю я. — Не нужно.

Витя пожимает плечами. Возможно, списывает на браваду или суеверие. Он не знает, что очки для меня — периметр, внутри которого мир остаётся управляемым. Без них пространство расплывается, и вместе с ним расплывается всё: правила, контроль, фасад, и это не нужно ни мне, ни ему.

Тренер Вити поднимает руку. Опускает.

Мир сужается.

Не постепенно — мгновенно, как щелчок затвора. Зал исчезает: гимнастки, Костян, бинты на скамейке, зелёные глаза — всё стирается, становится белым шумом за границей кадра. Остаётся квадрат ринга. Фигура напротив. Я.

Витя начинает с джеба. Длинного, проверочного, с дальней дистанции. Я вижу его раньше, чем он оформляется в движение: правое плечо ушло на миллиметр назад, передняя нога развернулась наружу, вес сместился на переднюю треть стопы. Джеб, левая, средний уровень. Я смещаюсь вправо на десять сантиметров. Перчатка проходит мимо подбородка, я чувствую ветер от неё — тёплый, с запахом кожи.

Не контратакую. Пока.

Витя возвращается в стойку, оценивает. Умный. После промаха не бросается вперёд, а перегруппировывается. Его глаза за перчатками — цепкие, внимательные.

Вторая попытка: джеб-кросс-лоу-кик. Связка хорошо от-

рабочая, но с провисанием — между кроссом и киком полсекунды задержки, правая рука после кросса проседает на два сантиметра ниже, чем нужно. Окно. Я его вижу, фиксирую, запоминаю — и не использую. Просто отступаю, пропуская кросс, и принимаю лоу на бедро, успев напрячь мышцу. Голень входит в камень. Витя морщится. Чувствует.

Третья. Он идёт ва-банк — правый хук, с вложением, с разворотом всего корпуса, удар, который при попадании кладёт на пол. Его плечо раскрывается широко, рука описывает дугу, и на пике я вижу всю траекторию целиком, от начала до конца, как вижу формулу — готовую, завершённую, с известным ответом. Ныряю под удар, подсед, смещение влево, и я уже внутри его периметра, и мой ответ уходит в солнечное сплетение — короткий, прямой, без замаха, на выдохе.

Витя складывается. Воздух выходит из него со свистящим хрипом, и он отшатывается к канатам, хватая ртом кислород. Его тренер у канатов подаётся вперёд.

Я жду. Даю ему дышать. Это не великодушие — просто я здесь не для того, чтобы уничтожить Витю. Я здесь, чтобы показать метод.

Витя выпрямляется. Кивает: давай. В его глазах — злость и уважение одновременно, и эта смесь делает его опаснее: он начнёт рисковать.

Он рискует. Сокращает дистанцию, ломится в ближний бой — короткие серии, апперкоты, хуки в корпус. Он тяжёлый, мощный, и в клинче его масса давит, наваливается, пы-

тается продавить мою стойку. Его дыхание — горячее, частое, хриплое. Пот стекает по его вискам, капает мне на плечо. Он бьёт грамотно, плотно, и другого бойца это могло бы смять, но другой боец не читает его тело как открытую книгу.

Дверца клетки внутри меня приоткрыта. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы через неё сочилась скорость, но не ярость. Скорость — это мышцы и нервные импульсы, она управляема, она подчиняется формуле. Ярость — нет. Ярость — это когда дверца распахивается настежь, и то, что за ней, не имеет имени. Только голод.

Я контролирую это. Я всегда контролирую это.

Витя бросает правый боковой. Я перехватываю его руку на полпути, провожаю мимо себя и ставлю встречный мидл-кик в печень. Подъём стопы входит точно — в мягкий карман между нижним ребром и тазовой костью. Я чувствую, как удар проходит сквозь мышечный слой и достигает органа: глухой, тяжёлый контакт, от которого тело выключается раньше, чем мозг успевает зарегистрировать боль.

Витя оседает на одно колено. Перчатка упирается в пол. Пытается подняться — и не может: печень пульсирует, парализуя ноги.

Тренер хлопает ладонью по канату. Стоп.

Я опускаю руки.

Тишина в зале — другого качества. Раньше она была любопытной. Теперь — оглушённой. Кондиционер гудит. Где-

то капает кран. Костян сглатывает так громко, что я слышу это с ринга.

Подхожу к Вите, наклоняюсь, протягиваю руку. Он смотрит снизу — красное лицо, вена на виске — потом хрипло, коротко смеётся. Вкладывает перчатку в мою ладонь, позволяет себя поднять.

— Ни хера себе библиотекарь, — говорит он, и в этом — ни капли обиды, только чистое мальчишеское изумление.

— Спасибо за спарринг. Хорошая база. Между кроссом и лоу — провисание в полсекунды. Правая проседает. Поработаешь над связкой — будет чисто.

Витя моргает. Потом кивает, медленно, с лицом человека, который впервые получил подарок не на день рождения, и теперь не знает, как креагировать.

Я выдыхаю. Медленно, через нос. Возвращаю ресурсы к контролю своего тела и лица: губы расслабить, лоб расслабить, плечи опустить.

Пролезаю через канаты, спускаюсь с ринга.

Она стоит у канатов.

Я знаю это ещё до того, как оборачиваюсь, — чувствую смещение напряжения в пространстве, точку, к которой стягивается воздух. Она подошла ближе за время боя. Значительно ближе — и она, скорее всего, сама этого не заметила, потому что всё её внимание было на ринге.

Я оборачиваюсь.

И впервые вижу её без брони.

Это длится мгновение — может, полторы секунды — но мой мозг ещё работает в бойцовском режиме, и полторы секунды в этом режиме — это снимок с запредельным разрешением. Её глаза широко открыты, и зелень в них чистая, без мути, без яда, прозрачная, как свежая трава после ливня. Губы разомкнуты — как у человека, который собирался что-то сказать и потерял слова. Руки висят вдоль тела. Просто висят — не скрещены, не сжаты в кулаки, не спрятаны в карманы. Нейтральное положение.

Тремор стал заметнее. Или она перестала его прятать.

Я пытаюсь прочитать её лицо. Удивление — частичное совпадение. Страх — частичное совпадение. Что-то третье, чему в моём каталоге нет точного соответствия. Что-то, от чего мне не по себе — не потому что неприятно, а потому что непонятно. Непонятное означает неполноту системы, а неполнота системы означает брешь, а брешь — это всегда риск.

Я подхожу. Полтора метра между нами.

Она чувствует. Мгновенная реакция — щелчок капкана: руки взлетают к груди, скрещиваются, пальцы вцепляются в рукава худи. Глаза сужаются, мутнеют. Подбородок вверх. Челюсти смыкаются с отчётливым скрежетом.

Полная реконструкция. За полторы секунды — обратно в танк.

Но я уже видел. Я уже зафиксировал то, что было до. И эта фотография — девушка с дрожащими руками и прозрачны-

ми зелёными глазами — теперь лежит где-то внутри меня, и я не знаю, в какую ячейку её положить, потому что ни одна не подходит по размеру.

— Теперь ты не против поговорить? — спрашиваю я.

Без давления. Я не умею вкладывать в вопросы то, чего в них нет, — и сейчас, наверное, это к лучшему.

Она смотрит на меня. Долго, тяжело, из-за баррикады скрещённых рук. И я вижу — нет, не вижу, скорее вычисляю по микродвижениям — борьбу. Не со мной. С собой. С рефлексом, который кричит: оттолкни, укуси, уйди. И с чем-то другим, тихим и новым, что говорит: подожди.

Она скрипит зубами — длинный, медленный скрежет, от которого и мне сводит челюсть.

И кивает.

Один кивок. Короткий. Резкий. Как удар.

Достаточно.

— Хорошо, — говорю я. — Миша оставил записи по твоей подготовке. Но мне нужно увидеть самому. Первую неделю — только диагностика. Без правок.

— Без правок, — повторяет она, и в её голосе скептицизма хватило бы на троих. — Это как?

— Я только наблюдаю. Ты делаешь то, что делала с Мишей. Мне нужно понять, как ты двигаешься, прежде чем что-то менять.

Она изучает меня — цепко, прищурившись, как будто ищет подвох в каждом слове.

— Во сколько тебе удобно? — спрашиваю я.

— А это важно?

— Я подстроюсь.

Бровь ползёт вверх. Подозрительно.

— Тренеры обычно не подстраиваются.

— Я подстроюсь.

Пауза. Она перекатывает ответ во рту, как леденец, который не решается ни проглотить, ни выплюнуть.

— С восьми утра. Шесть дней в неделю.

— Понедельник. В восемь.

— Опоздаешь — я ушла.

— Не опоздаю.

Она дёргает подбородком — не кивок, что-то мельче, как произвольный тик — и встаёт со скамейки. Разговор окончен. Она решила, что он окончен, и я не спорю, потому что давить сейчас — значит потерять всё, что удалось выстроить. А удалось немного: она согласилась говорить, согласилась на время, согласилась на понедельник. Три точки контакта. Для первого дня — достаточно.

Я поднимаюсь следом.

И тогда её взгляд падает на мои руки.

На бинты. Я забыл о них — целиком, что случается нечасто, я редко упускаю из фокуса вещи, связанные с телом. Но последние минуты мой ресурс был переключен на разговор, и руки просто выпали из внимания. Они по-прежнему замотаны так, как она их оставила — туго, жёстко, с избыточным

давлением. Пальцы побелели. На тыльной стороне ладоней — красные рубцы от вмятой ткани.

Она смотрит на них, и её лицо дёргается — коротко, болезненно, как спазм. Складка между бровей. Стиснутая челюсть. Она отводит глаза, потом снова смотрит — быстрый воровской взгляд, как будто надеялась, что за секунду что-то изменилось.

Не изменилось.

— Дай сюда, — говорит она. Сквозь зубы. Не глядя мне в лицо.

Она берёт мою левую руку — не спрашивая, не предлагая, просто берёт — и начинает разматывать. Молча, быстро, ловко. Но по-другому. Каждый виток она ослабляет прежде, чем потянуть, — чтобы ткань не отдирала кожу. Она делает это на автомате, бессознательно, и эта аккуратность противоречит всему, что я видел от неё до сих пор. Противоречит ей.

Её пальцы дрожат. Она не пытается это спрятать — некуда, обе руки заняты.

Левый бинт падает на скамейку. Она перехватывает правую руку и продолжает — так же молча, так же быстро, с тем же предварительным ослаблением каждого витка, и всё её тело транслирует одну непрерывную, тёмную, направленную внутрь злость. Она злится на себя. За то, что перетянула. За то, что подошла. За то, что ей оказалось не всё равно.

Последний виток. Она стягивает бинт, и на секунду —

случайно, по инерции — подушечки её пальцев проходят по центру моей ладони.

Данные. Слишком много данных: температура, текстура, мозоли на основаниях пальцев и мягкая кожа на внутренней стороне запястья. И что-то ещё, неклассифицируемое, тяжёлое, незнакомое.

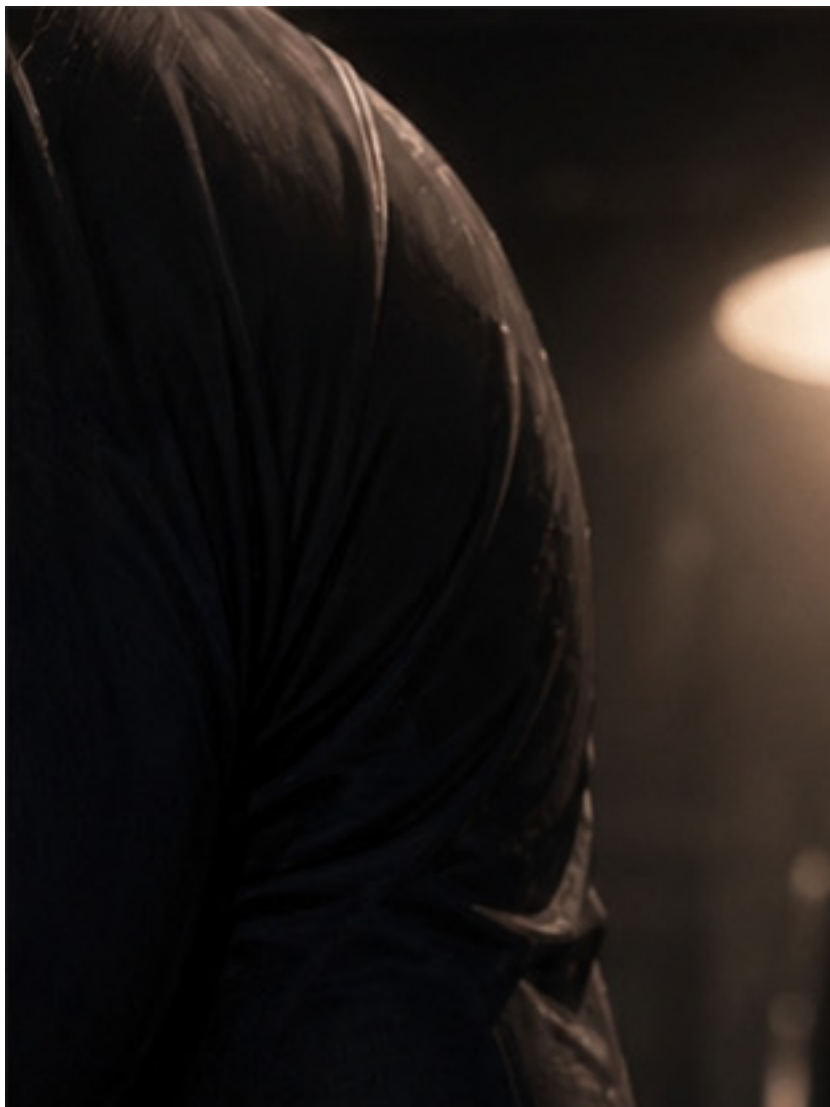
Она отдёргивает руку. Быстро, как от ожога.

— В понедельник, — бросает она, уже уходя. Спина прямая, руки в карманах худи — глубоко, до локтей. Косички мотаются из стороны в сторону.

Я стою у скамейки. В правой ладони медленно гаснет чужое тепло.

Первый паттерн разобран. Контакт установлен. Всё логично. Всё укладывается в схему.

Кроме этого тепла. Кроме полутора секунд, в которых не было ни брони, ни яда — только девушка с дрожащими руками, которая разматывала мои бинты так, будто пыталась исправить что-то большее, чем перетянутую ткань.



Глава 3. Рина: Танька

У меня перед глазами всё ещё стоит его лицо.

Не то — не мягкое, с улыбкой и линзами. Другое. То, которое проступило на ринге, когда он перестал быть библио-текарем и стал — чем? Я не знаю слова. Хищником — слишком просто. Машиной — слишком мёртво. Он был живой, в том-то и дело, он был чудовищно, оскорбительно живой: каждая мышца работала отдельно и все вместе, как оркестр, в котором каждый инструмент знает свою партию наизусть. Ни одного лишнего движения. Ни одного. Я считала — я всегда считаю, это привычка, вбитая Мишей: смотришь бой — считаешь паразитные движения, всё, что не работает на результат. У Вити их было двенадцать за три минуты. У Марата — ноль.

Ноль.

И его лицо. Когда он вошёл в стойку, мягкость испарилась, как пар с зеркала — провёл пальцем, и нет. Скулы стали острее, или мне показалось, но показалось убедительно: вся эта ангельская акварель собралась в графику, в чертёж, в линии, которые не украшают, а режут. Глаза за стёклами перестали быть спокойными — они стали точными. Как прицел. И он кайфовал — я видела, я чувствовала это на расстоянии, как чувствуешь жар от костра за пять метров. Не азарт, не адреналиновый кайф, который я знаю по себе, —

что-то другое, глубже, тише. Удовольствие животного, который слишком много времени провел в клетке, и которому позволили размять лапы. Удовольствие человека, который находится именно там, где ему следует. Удовольствие от абсолютного контроля, от того, что каждый удар ложится туда, куда был послан, с точностью до сантиметра.

Ему есть место на ринге. Ему на ринге — как богу в храме.

И это проблема. Потому что когда он спустился и подошёл ко мне, всё внутри заорало: закройся, захлопнись, уйди. Рефлекс, натренированный лучше любого апперкота. Мужчина, который оказался не тем, кем выглядит, — значит, опасен. Мужчина, который прячет силу за мягкостью, — значит, опасен вдвойне. Мужчина, от которого тебе что-то нужно, — значит, он это использует.

Но.

Если он будет учить меня. Если он научит меня хотя бы десятой части того, что я видела на ринге — этому чтению, этому хирургическому разбору чужого тела, этой работе на опережение, когда ты знаешь, куда полетит удар, раньше, чем противник принял решение бить, — если он даст мне это, то я смогу. Не региональные соревнования, нет — настоящие, крупные бои с внушительными призовыми. Большой спорт.

Мне нужен этот тренер. Мне нужен именно этот тренер, и от этого осознания хочется разбить что-нибудь лбом, потому что я ненавижу нуждаться.

Маршрутка воняет бензином и вчерашним потом. Я стою, держась за поручень — сидеть не могу, тело после тренировки гудит, икры забиты, и если сяду, потом не встану без сто-на, а стонать в общественном транспорте я не собираюсь. За окном проплывают одинаковые панельки, одинаковые «Маг-ниты», одинаковые дворы с одинаковыми собаками и одина-ковыми мужиками на лавках у подъездов. Суббота. Полвто-рого.

У Таньки уроки заканчиваются в двенадцать тридцать. Двадцать минут пешком от школы до дома. Она уже там. И он — тоже там, потому что сегодня у него выходной, и по субботам он торчит дома, развалившись на диване в засален-ной майке, и от одной мысли об этом у меня скручивает же-лудок так, что я сгибаюсь пополам и маскирую это под то, что лезу в рюкзак за телефоном.

Пишу Таньке: «ты дома?»

Ответ приходит почти сразу. Она всегда отвечает быстро, потому что телефон не выпускает из рук. Потому что теле-фон — это связь со мной, а связь со мной — это единствен-ное, что стоит между ней и всем остальным.

«да, в комнате»

«дверь закрыта?»

«да»

Я выдыхаю. Пальцы на поручне разжимаются. Микротре-мор откатывает.

«скоро буду»

Подъезд встречает запахом кошачьей мочи и застоявшейся сырости. Третий этаж, дверь — обитая дерматином, коричневым, с рваной дырой у глазка, потому что он однажды со злости ткнул в неё отвёрткой. Ключ в замке поворачивается два раза. Вхожу.

Квартира пахнет жареной картошкой, сигаретным дымом и дешёвым одеколоном, и от этого сочетания мне всегда — каждый раз, без исключения — хочется блевать. Не от запаха. От того, что за ним стоит. Каждый запах привязан к памяти, а моя память — минное поле, и этот дешёвый одеколон — самая большая мина.

Он в зале: тупое бормотание телевизора, выкрученного на двадцатую громкость, и его голос поверх — «ну давай, давай, е-мана, бей» — он смотрит бокс, или борьбу, или любую другую хрень, где мужчины бьют друг друга, и он может чувствовать себя причастным к этому, сидя на продавленном диване с банкой «Балтики» в руке.

Я прохожу мимо дверного проёма быстро, не поворачивая головы. Периферийным зрением: майка, живот, начинающая рыхлеть шея, сальные волосы, рука с банкой. Обычный мужик. Обычный, нормальный, заурядный — ни рогов, ни копыт, ни таблички «монстр» на лбу. Он стригся на прошлой неделе, и парикмахерша из соседнего дома наверняка улыбалась ему, потому что он умеет улыбаться, он умеет шутить, он на каждом дворовом шашлыке — душа компании, Игорёк, а ты анекдот слышал, а давай ещё по одной. Его

обыкновенность — самое страшное в нём. В толпе не узнаешь. На улице пройдёшь мимо и не обернёшься. Он ничем не пахнет, кроме дешевого одеколона и пива, и этот запах — запах половины мужиков в этом районе.

— О, явилась, — бросает он, не отрывая глаз от экрана.

Я не отвечаю. Иду в коридор, к нашей с Таней комнате.

— Марина.

Останавливаюсь. Не потому что хочу. Потому что тело останавливается само — рефлекс, старый, трусливый, вбитый в мышцы раньше, чем я научилась бить в ответ. Когда он зовёт — ты замираешь. Как кролик. Как добыча. Мне двадцать лет, я мастер спорта, я могу сломать нос любому мужику в этом подъезде — но его голос всё ещё останавливает моё тело на полушаге.

— Как же ты заебала, — говорит он лениво, с растяжкой, как будто комментирует погоду. — Когда ты уже съедешь.

Я оборачиваюсь. Смотрю на него. Он не смотрит на меня — он смотрит в телевизор, и в этом всё: я не стою его взгляда. Я не стою даже поворота его сальной головы. Я — мебель, которая мешает, и единственное, что ему нужно от этой мебели, — чтобы она убралась.

Мать на кухне. Я слышу, как шкворчит сковородка, как стучит лопатка по тефлону. Она слышала. Она всё слышит — стены в этой квартире тоньше бумаги. И она молчит. Молчит так, как молчала, когда его рука легла на мою ногу за столом, а она знала, и просто перевела взгляд в телевизор,

как будто если ты на что-то не смотришь, то этого не существует. Молчит так, как молчала, когда я сказала ей — один раз, единственный раз, собрав всю свою тринадцатилетнюю смелость — что он приходит ко мне ночью, и она посмотрела на меня стеклянными глазами и сказала: «Не выдумывай». Молчит так, как молчит сейчас. Лопатка по тефлону. Шкворчание масла.

Мне знаком этот стеклянный взгляд. Я научилась этому, когда в темноте скрипела дверь, когда я слышала сиплое дыхание. Отключаться. Строить стены вокруг своего разума. Когда ты в таком состоянии, все звуки, все ощущения заглушены, и доносятся как через толщу воды, плотный слой ваты.

Только я это ненавижу в себе, а она — приняла как норму. — Не переживай, — говорю я. Ровно. Спокойно. Ни одной трещины в голосе. — Скоро съеду.

Он хмыкает. Делает глоток пива. Разговор окончен. Для него — так точно.

Я иду по коридору. Тёмный, узкий, с обоями, которые отклеиваются у потолка и висят жёлтыми языками. Линолеум под ногами протёрт до бетона в двух местах — у ванной и у двери нашей комнаты. Стучу.

— Это я.

Дверь открывается мгновенно. Она стояла за ней. Ждала.

Танька — маленькая, хрупкая, с тонкими запястьями и огромными глазами, которые всегда чуть-чуть слишком ши-

роко открыты. Ей двенадцать, и она выглядит на десять, потому что плохо ест, потому что плохо спит, потому что в этом доме невозможно нормально ни есть, ни спать. Она похожа на меня — до тренировок, до мозолей, до мышечной брони. Без панциря. И каждый раз, когда я смотрю на неё, у меня внутри что-то рвётся — тихо, как ткань по шву.

— Привет, мелкая.

Она утыкается мне в грудь. Молча, крепко, вцепившись пальцами в моё худы. Я обнимаю её — обеими руками, прижимаю к себе, и она такая маленькая, такая лёгкая, что мне каждый раз кажется, будто я держу птицу: одно неловкое движение — и сломаю.

— Всё нормально? — спрашиваю тихо, в макушку.

Она кивает. Не отлипает.

Мы закрываем дверь. Я поворачиваю защёлку — хлипкую, копеечную, которая не выдержит одного удара его тяжёлого плеча, но которая хотя бы даёт звук. Предупреждение. Секунду форы.

Танькина комната — это и моя комната. Шесть квадратов на двоих, но мы никогда не жаловались, потому что шесть квадратов с закрытой дверью лучше, чем целая квартира с открытой. Кровать у стены — одна, полуторка, мы на ней помещаемся, если Танька свернётся калачиком, а я лягу на спину у края. Письменный стол, заваленный учебниками и альбомами, — по факту её, потому что я уроков не делаю уже два года, а она ещё делает, старательно, высунув кончик

языка, ровным круглым почерком. Старый плюшевый заяц на подушке — без уха, с пятном от чая на пузе. На стене — мои рисунки, те, что я рисовала ей в детстве: кривые единороги, замки с флагами, принцессы с мечами. Ей двенадцать, и она их не снимает.

Я сажусь на кровать, привалившись спиной к стене, и Танька сразу забирается мне под руку, как зверёк в нору. Достает из-под подушки альбом и цветные карандаши — тупые, сточенные до середины, ей нужны новые, и я мысленно добавляю это в список вещей, на которые нужны деньги, которых нет.

— Рисуем? — спрашивает она.

— Рисуем.

Я беру синий карандаш — единственный нормальной длины — и начинаю рисовать дракона с крыльями, потому что Танька любит драконов, и каждый раз просит, чтобы у них были большие крылья и добрые глаза. Добрые драконы. Она верит в добрых драконов, в этой квартире, за этой хлипкой дверью.

— Миша уехал, — говорю я.

— Совсем?

— Совсем. В Казахстан.

Танька молчит, водит карандашом по бумаге. Рисует что-то мелкое, кудрявое — похоже на облако, или на овцу, или на облако в форме овцы.

— Тебе грустно? — спрашивает она, не поднимая глаз.

— Немножко.

Она поднимает глаза. В них — тихий, серьёзный укор, от которого мне сразу хочется сдаться.

— Ладно, не немножко. Сильно.

Она прижимается ко мне плотнее, и это её способ утешать — без слов, только теплом, и этого достаточно, и этого всегда будет достаточно.

— Но у меня теперь новый тренер, — говорю я, и мой голос звучит иначе, чем я ожидала. Легче. Или растерянное.

— Какой?

— Станный. Огромный. Вот такенный, — я показываю рукой высоту, и Танька хихикает, потому что я тянусь так сильно, что худи задирается. — И знаешь что? Он носит очки. Тоненькие, как у учителя литературы. И говорит тихо, вежливо, будто из книжки. Я думала, он какой-нибудь заблудший ботан.

— А он не ботан?

— Он... — я замолкаю. Перед глазами: ринг, Витя, складывающийся пополам, и Марат над ним — ни царапины, ни одного пропущенного удара, лицо острое, хищное, от ботана ни следа. — Нет. Он не ботан. Он на ринге как... ну, типа, бог. Не бог-бог, с бородой и облаками. Просто ни одного лишнего движения, понимаешь? Как будто он видит удар раньше, чем противник его придумал.

— Это как суперсила?

— Это как тренировки. Очень-очень-очень много трени-

ровок.

Танька улыбается. И у меня внутри что-то замирает, останавливается — как стрелка часов, — и мир на мгновение перестаёт быть тем, чем является, и становится тем, чем мог бы быть, если бы жизнь была другая.

— Нарисуй его, — говорит она.

— Кого?

— Тренера. Бога.

Я фыркаю — тихо, совсем не так, как фыркала в зале — и беру карандаш. Палка-палка-огуречик. Широченные плечи, маленькая голова, кружочки-очки.

— Это бог? — Танька давится смехом. — Он похож на работа.

— Он и есть робот. Помнишь, мы смотрели мультик? Двухметровый блондинистый стальной гигант.

Она хохочет — тонко, рассыпчато, — и этот смех заполняет комнату, как свет, и я улыбаюсь. Не оскалом и не кривой ухмылкой, а так, как улыбаются нормальные люди нормальным вещам. С кем попало я так не умею. Только с ней.

— Расскажи, как в школе, — говорю я.

И она рассказывает. Про Ленку, которая подралась с Максимом из-за ластика и выиграла. Про учительницу по биологии, которая принесла скелет, и Пашка чуть не упал в обморок. Про контрольную по математике, которую она написала на четвёрку, и это хорошо, правда же, Рин, четвёрка — это хорошо?

— Четвёрка — это отлично, мелкая.

Она расцветает. От одного слова — расцветает, и мне хочется орать, потому что ей двенадцать, и она голодна до похвалы так, как голодны только дети, которых никогда не хвалят дома. Мать не хвалит — мать не замечает. Он — тоже. Пока.

Танька рисует. Я смотрю на её склонённую голову — тонкая шея, острые лопатки под футболкой, детские, совсем ещё детские плечи — и считаю. Ей двенадцать. Через год — тринадцать. Тело начнёт меняться. Грудь, бёдра, всё то, что превращает ребёнка в мишень для него. Он в соседней комнате, с пивом и этим взглядом, и я знаю, как работает этот механизм, потому что была первой, потому что мне было тринадцать.

Стискиваю зубы. Считаю деньги. Мне нужна квартира — хоть комната, хоть конура, куда я смогу её забрать. Звание мастера спорта позволяет выступать на полупрофессиональных турнирах — призовые небольшие, двадцать-тридцать тысяч за бой, если повезёт. За полгода я заработала только восемьдесят тысяч. Половина ушла на экипировку и взносы, половина — на Танькины учебники, одежду, продукты, потому что мать тратит всё на свои кремы и парикмахерские, на поддержание витрины «нормальной семьи» для соседей.

Если Марат — этот фальшивый неженка с настоящим зверем под кожей — сможет вытащить из меня то, что увидел Миша, если он сделает из меня бойца национального уров-

ня, призовые вырастут. Спонсоры. Контракты.

А если нет. Если не выгорит. Если он окажется очередным красивым разочарованием.

Тогда — курьеры. Самокат, жёлтый рюкзак, четырнадцать часов в день. Спорт подождёт. Спорт — моё желание, Танька — моя ответственность. Выбирать не придётся, потому что выбор уже сделан.

Она засыпает раньше меня. Всегда — как котёнок: мину-ту назад рисовала, хихикала, а потом раз — обмякла, карандаш выкатился из пальцев, ресницы подрагивают, дыхание ровное.

Я убираю карандаши. Стягиваю с неё тапочки — старые, белые, протёртая подошва, тоже в список — и укрываю пледом. Ложусь рядом, обнимаю со спины, и она во сне придвигается ближе, затылком в мою ключицу. Её дыхание на моей руке — тёплое, лёгкое, мерное.

Из зала: бормотание телевизора, его голос — «бля, пропустил» — и звук открываемой банки.

Закрываю глаза.

Числа плывут, путаются, сбиваются: стоимость аренды, стоимость кроссовок, стоимость карандашей, стоимость жизни без чудовища за стенкой. И где-то между «четырнадцать часов на самокате» и «если он научит меня контрататке» сознание делает то, чего я ему не разрешала, — подсовывает картинку.

Ринг. Белые волосы. Лицо, ставшее острым и незнако-

МЫМ.

Я пытаюсь переключиться — обратно на числа, на аренду, на что-нибудь полезное — но мозг не слушается. Он возвращается к моменту, когда Марат вошёл в стойку и перестал быть тем, за кого я его приняла. Перестал мгновенно, как будто снял маску и обнажил что-то настоящее. Его челюсть стала жёстче. Или она всегда была жёсткой, просто улыбка это скрывала. Глаза за линзами — я думала, они спокойные, я думала, это тихое, ровное пламя, которое не обжигает, но на ринге это пламя сфокусировалось в точку, и в этой точке можно было плавить сталь.

Он двигался так, будто знал геометрию чужого тела лучше, чем его владелец. Витя — здоровый, тяжёлый, с хорошей базой — рядом с ним выглядел как человек, который размахивает фонарём в темноте, а Марат был самой темной: всегда на шаг впереди, всегда в том месте, где Вити уже не было, и одновременно именно в том, куда Витя только собирался прийти.

И он не разозлился. Ни разу. Вот что не даёт мне покоя. Я знаю, как выглядит злость в бою — я вижу её каждый раз в зеркале, когда работаю по мешку. Сведённые брови, оскал, красные пятна на шее. У него ничего этого не было. Он бил без злости, без азарта, без ненависти — и при этом каждый удар приходил точно туда, куда был нужен. Как будто насилие может быть чистым. Как будто можно причинять боль, не вкладывая в неё ничего личного.

Я так не умею. Я вкладываю в каждый удар всё.

Каждый бой для меня — это месть, и эта месть делает меня сильной, но она же делает меня слепой, и Миша говорил об этом, Миша говорил: «Ты уходишь в голову, когда дистанция сокращается», — и он был прав, я ухожу в голову, потому что на ближней дистанции чужое тело слишком близко, чужой запах слишком сильный, и всё это бьёт по триггерам, и я перестаю думать и начинаю выживать.

А он — думает. Он на ринге думает каждую секунду. И от этого — страшнее любого бешеного мясника, потому что бешеного можно перетерпеть, переждать, а того, кто думает — нет.

Сознание подсовывает его руки. Как я мотаю ему бинты и тяну нарочно, со зла, а он стоит и не двигается, и на его лице — ничего. Вообще ничего. Как будто боль — просто слово, которое он знает, но не чувствует. И я бешусь ещё сильнее, потому что хочу пробить эту стену, хочу, чтобы он дал мне хоть какую-то точку опоры, хоть какое-нибудь доказательство, что он живой и настоящий, а не симуляция человека в дорогой оболочке.

А потом он сказал «тремор».

Одно слово. Тихое, без интонации, как диагноз. Он заметил. Он увидел то, что я прячу от всех, что я прячу даже от себя — эту дрожь, этого предателя, который живёт в моих пальцах и сдаёт меня каждый раз, когда я пытаюсь притвориться, что мне нормально. Миша замечал, но молчал. Ко-

стоян не замечал и не заметит, потому что у Костяна наблюдательность уровня бревна в проруби. А этот — увидел сразу.

Мне от этого хочется его ударить. И одновременно — хочется, чтобы он увидел ещё что-нибудь.

Нет. Не хочется. Не нужно. Мне нужен тренер, а не терапевт, и всё, что мне от него требуется, — это его техника, его мозг, его способность читать чужое тело и делать из хаоса систему. Остальное — не моё дело. Его мягкая улыбка — не моё дело. Его серые глаза, в которых на секунду мелькнуло что-то тёмное, когда он снял очки, — не моё дело. Его «спасибо», когда я закончила мотать бинты, — сказанное так ровно, будто я угостила его чаем, а не пережала ему все сухожилия, — совсем, абсолютно не моё дело.

Когда я разматывала их, всё внутри выло: зачем, зачем, зачем ты это делаешь, тебе не должно быть дела до его забинтованных рук. Но красные полосы на побелевших костяшках — моя вина. Конкретно моя, и я не хочу жить с болью человека, который этого не заслужил, на своих руках, мне хватает собственной.

Он стоял и не двигался, пока я разматывала. Так же, как когда я мотала. И я не знала, что хуже — что он терпел боль молча или что он так же молча позволил мне её исправить. Как будто и то, и другое — одинаково нормально. Как будто люди причиняют друг другу боль и исправляют её каждый день, и в этом нет ничего особенного.

Может, для него и нет. Откуда мне знать.

Танька сопит мне в ключицу. Из зала — бормотание телевизора, звон банки.

Я закрываю глаза и вижу, как он протирает линзу краем чёрной футболки, и на этой футболке, на секунду задравшейся, — полоска живота, и мышцы, и дорожка, уходящая вниз, и я не думаю об этом, я не собираюсь об этом думать, я просто отмечаю как факт, как данность, не больше.

Не больше.

Руки не дрожат.

Потому что Танька рядом. Потому что дверь закрыта. Потому что в понедельник, в восемь, он будет ждать в пустом зале.

И я приду.



Глава 4. Марат: Тишина

Гараж пахнет машинным маслом, остывшим кофе и цитрусовой жвачкой — Аня жуёт её непрерывно, и этот запах расходится по всему пространству.

Я читаю. Канеман, «Думай медленно... решай быстро». Глава о когнитивных искажениях — о том, как мозг подменяет сложные вопросы простыми, даёт быстрый ответ вместо правильного и при этом убеждён, что прав. Полезная книга. Нужная. Каждый абзац — как фонарь в тёмный коридор: светишь и видишь, сколько дверей ты проходил мимо, думая, что они стены. Я запоминаю типы искажений — подставляю к каждому собственный пример, проверяю, щёлкает ли замок, и если щёлкает — значит, совпало, значит, я тоже так делаю, значит, нужно перекалибровать. Список совпадений длиннее, чем хотелось бы. Но лучше длинный список, чем слепое пятно.

Вокруг — Свора. Они шумят, и мне с этим хорошо. Не хорошо в том смысле, в каком бывает хорошо от чая или от тёплого пледа — я не уверен, что знаю, как это. Хорошо в том смысле, что чужой шум заполняет пространство, и в этом пространстве не остаётся щелей, через которые просачивается мой собственный шум, потому что тишина — это не покой. Тишина — это когда стены исчезают, и ты остаёшься один на один с тем, что живёт на дне, и оно начинает

подниматься, медленно, как чёрная вода, и язык у этой воды — не мой, не тот, на котором я думаю днём, когда есть книги, люди, структура. Он деструктивный, бессвязный, он не строит предложения, а рвёт их, и в нём нет логики, только голод, только тяжесть, только вещи, которые я не хочу слышать и не могу заглушить. Поэтому шум, свора и Канеман в руках, потому что книга — это поводок для мозга, направление, русло, и пока сознание течет по этому руслу, вода внутри не поднимается.

— Не дёргайся, — говорит Аня. — Серьёзно. Дёрнешься — пробью криво, и будешь как парализованный пират. Одна половина лица улыбается, вторая нет.

— Я не дёргаюсь, — отвечает Санёк, и тут же дёргается. Аня убирает иглу за секунду до контакта — металлический щелчок и Анькин вздох, в котором терпения ровно на одну попытку.

— Дэн. Если ты щёлкнешь зажигалкой ещё раз, я тебе её в ноздрю засуну.

— Больно было бы.

— Очень на это надеюсь.

Канеман: «Когда сталкиваешься с трудным вопросом, мозг часто отвечает на более лёгкий, не замечая подмены». Я прокручиваю это дважды, проверяю на себе. Вчера, когда она сказала «я отказываюсь» — что именно я начал анализировать? Её позу. Её зрачки. Её дыхание. Всё правильно, всё по протоколу. Но был ли вопрос, который я подменил?

Был ли простой ответ там, где я выстроил сложную систему?

Нет. Я разберусь позже. Сейчас — Канеман.

— Завораживает, да? — это Аня, и я краем глаза вижу, что она обращается к Миле. — Хочешь, и тебе набьём? Мы тут все меченые. Вливайся.

Я поворачиваю голову — не к Ане, к Миле. Она сидит на диване, маленькая, с поджатыми ногами, наушники на шее, и её пальцы — длинные, тонкие, только что лежали на предплечье Рэма, на его татуировках, скользили по линиям рисунка, как по карте. А теперь — убрались. Быстро, незаметно, как будто их там не было. Рэм не двигается, только его челюсть чуть напрягается, и мне не нужно анализировать это долго: он заметил, что её руки ушли, и ему это не нравится, но он не скажет, потому что Рэм никогда не просит вслух. Он делает. Берет её руку и их ладони замком ложатся на его бедро.

Интересно, думают ли они об этом. Вероятно, нет. Вероятно, это происходит на том уровне, который Канеман называет Системой 1 — быстро, автоматически, без усилий. Они просто делают, а я — вычисляю, и от этого мне иногда кажется, что я смотрю на чужой язык через словарь: понимаю каждое слово, но не слышу музыку.

Мила отвечает:

— У Лёхи же нет. Татуировок. Значит, не все меченые.

Санёк — с предсказуемостью рассвета:

— У Лёхи-то нет? Ты просто его голым не видела!

— А ты, — Мила невинно хлопает ресницами, — я так понимаю, частенько видишь?

Санёк расплывается в широкой ухмылке.

— А то. У нас с ним особая, братская связь. Голышом в бане, пиво и мужские разговоры. Да, Лёх?

Лёха, не поднимая глаз от скетчбука, говорит:

— Отъебись, Сань.

— Видишь? Стыдится при людях. Наши чувства — наша тайна.

— Сядь ровно, — командует Аня, хватая его за подбородок. — Шапито.

Лёха поднимает тяжелый взгляд. Санёк осекается — от понимания, что порог достигнут. Санёк при всей своей хаотичности чувствует границы точнее, чем кажется. Он просто подходит к ним вплотную, каждый раз, как ребёнок, который трогает горячую плиту — не потому что глупый, а потому что ему нужно убедиться, что она всё ещё горячая, что мир всё ещё предсказуем.

Я понимаю этот механизм. Он проверяет пространство на прочность, потому что внутри у него пустота, и пустота пугает его больше, чем чужая злость. Я знаю это — не потому что он рассказывал, а потому что наблюдал: как его лицо меняется в те редкие секунды, когда гараж затихает одновременно, когда все молчат и смотрят в телефоны, и Санёк сидит в этой тишине, и его пальцы ускоряются, и он начинает крутить кольца на пальцах, и глаза бегают, и через три-четыре

секунды он обязательно скажет что-нибудь — любую чушь, лишь бы заполнить.

Мы похожи в этом. Только мои поводки — книги и алгоритмы, а его — шум и люди. Разные инструменты, одна задача: не дать тому, что внутри, подняться до уровня горла.

Аня хватает его за подбородок.

— Рот закрыл, шапито. Сейчас будет больно.

Игла входит. Санёк шипит — длинно, сквозь стиснутые зубы, и его пальцы на подлокотнике белеют. Тишина на три секунды — даже Дэн молчит, и в этой внезапной паузе я слышу, как гудят лампы дневного света и где-то за стенкой капает вода, и чёрная вода внутри меня приподнимается на сантиметр, и я возвращаюсь к Канеману, глазами в строку, и вода отступает.

— Готово. Идеально, — говорит Аня. — Не трогай руками. Не целуйся сутки.

— Сутки?!

— Переживёшь. Или не переживёшь. Мне всё равно.

Ей не всё равно — она уже достаёт антисептические салфетки и промакивает ему губу, и её пальцы в чёрных латексных перчатках двигаются с аккуратностью, которая полностью противоречит её словам. Я помню их по своему проколу, помню, как она предупредила: «Выдох — и не зажимайся, иначе хуже», — и я выдохнул, и не зажался, потому что это было логично, и сталь прошла через плоть с коротким, чистым сопротивлением, и в этом сопротивлении была

странная правильность. Боль, у которой есть причина и результат. Боль, которую ты выбрал.

Аня причиняет боль и тут же её лечит, и для неё это одно действие, а не два. Я думаю, что понимаю это лучше, чем остальные в Своре. Возможно, потому что для меня тоже существуют вещи, которые выглядят как два действия, но являются одним: ударить и защитить, сломать и починить. Ринг — именно об этом.

Санёк крутится к зеркалу, осторожно прикусывает кольцо — оно звякает о его сколотый клык, и этот звук — тонкий, металлический, неровный из-за скола — повторяется снова и снова, пока не становится ритмом.

— О, прикольно звенит. Лёх, слышишь? У меня теперь встроенный бубен.

Лёха не отвечает. Его карандаш продолжает двигаться по бумаге — мягко, с тихим шорохом, который я различаю только потому, что привык к этому звуку. Лёха рисует так, как я читаю: методично, сосредоточенно, закрывая себя от мира стеной из того, что делает лучше всего.

— И ты, Маратик? — голос Милы, мягкий, с тёплой подначкой. — Татуировки есть?

Я поднимаю глаза от Канемана. Она смотрит на меня с искренним любопытством — сидит, обхватив колени, наушники чуть сползли на одну сторону.

Дэн, раскинувшийся на полу у стены, щёлкает зажигалкой — вхолостую, просто ради щелчка и огонька — и добавляет:

— Ага. Только он никому не показывает. Видимо, бережёт для особенной.

— Серьёзно? — Мила разглядывает мою водолазку, очки, книгу. — Почему?

— Не вижу смысла, — говорю я и возвращаюсь к странице. Это правда. Моё тело — мой периметр, и то, что на нём и в нём, — не предмет для обсуждения.

Аня, протирая Сане губу, произносит с интонацией человека, который получает от ситуации чистое, неразбавленное удовольствие:

— У него ещё и пирсинг есть. Не только в ухе.

Я чувствую взгляд Милы — быстрый, ищущий контуры. Медленно поднимаю глаза поверх очков.

— Аня.

Она смеётся запрокинув голову, и поднимает обе руки в чёрных перчатках, с окровавленными салфетками, как хирург, сдающийся полиции.

— Я могила! Мила, просто мне нужна была практика на сложном проколе, а Маратик великодушно предоставил своё тело... — пауза. Она слышит собственные слова, и уголки её рта дёргаются. — Блин, звучит как-то странно, да?

— Очень, — подает голос Рэм. Без улыбки. Почти.

Санёк пытается заржать и хватается за губу.

— Су-у-ука, как больно смеяться...

— Не смейся, — говорит Аня.

— Ты пробила мне губу, а потом говоришь смешные ве-

щи и просишь не смеяться?! Это пытка! Это бесчеловечное обращение! Я подам жалобу!

— Куда? В гринпис?

— В Дэна. Он на юрфаке. Дэн, защити меня.

Дэн не шевелится. Только ямочка на щеке углубляется.

— Мой гонорар — сто рублей в минуту. У тебя денег нет. Дело закрыто.

— Это воспитательный процесс, — говорит Аня. — Терпи.

Ей не всё равно — она уже убирает салфетку и разглядывает прокол, наклонив голову, как ювелир над камнем. Удовлетворённый кивок. Она снимает перчатки — медленно, палец за пальцем, — и её руки под ними сухие, в мелких татуировках и рабочих мозолях. Я наблюдаю — не за ней конкретно, за всеми. Это мой способ быть здесь: наблюдать, фиксировать, встраивать. Каждый человек в этом гараже — паттерн, который я изучил и запомнил, и каждый паттерн — нитка, привязывающая меня к поверхности. Без них я тону.

Санёк крутится у зеркала, разглядывая кольцо. Осторожно прикусывает — звяк о сколотый зуб.

— Лёх, серьёзно, слышишь? Вот это, — звяк, — и вот это, — звяк-звяк. — Ми-бемоль. Бляха, у меня в лице музыкальный инструмент.

Лёха мычит что-то похожее на "угу". Разговор, с его стороны, окончен. Санёк начинает выстукивать кольцом о зуб что-то ритмичное, что, вероятно, должно быть мелодией, но

звучит как азбука Морзе в исполнении дятла.

Я возвращаюсь к Канеману. «Система 1 действует автоматически и быстро, почти или совсем без усилий и без ощущения сознательного контроля». Прокручиваю. Примеряю. Мой мозг — это Система 2, запущенная принудительно, круглосуточно, на полную мощность. Я не умею на автомате — вернее, умею, но то, что мой автомат выдаёт, когда я даю ему волю, непригодно для жизни среди людей. Мой автомат — это не улыбка в ответ на улыбку, не считывание настроения по тону голоса, не интуитивное «ему грустно, обними». Мой автомат вырос в зале, среди перчаток и кап, на паршивом корме из злости, одиночества и неоправданных ожиданий.

Мысль скользит опасно, в сторону, и я возвращаюсь к книге. Канеман. Следующий абзац. Когнитивная лёгкость. «Повторяющийся опыт, ясная подача, хорошее настроение и даже предварительная активация идеи — всё это порождает когнитивную лёгкость».

— Ну чё, терминатор в очках, — говорит Дэн. Он пересел на диван, освобождённый Рэмом и Милой — они ушли пять минут назад, Рэм молча подал ей шлем, она молча приняла, и Дукати взрыкнул и унёсся в темноту, и в гараже стало чуть тише, и эту разницу я почувствовал как перепад давления в ушах. — Как вчерашний рабочий день? Выдали подопечного?

Я не закрываю книгу. Держу палец на строке. Дэн не оби-

жается — он привык, что я не бросаю всё мгновенно, и ему даже нравится ждать, потому что ожидание для Дэна — часть игры, а Дэн живёт в режиме игры двадцать четыре часа в сутки.

— Подопечную. Двадцать лет. Недавно взяла мастер спорта.

— Та-а-ак, а вот это уже интересно... Красивая?

Я обрабатываю. Стандартно: критерии, сопоставление, вывод.

Резкие скулы. Упрямая линия подбородка. Зелёные глаза — насыщенные, яркие, с желтоватыми крапинками у зрачка, которые я разглядел, когда она мотала бинты. Губы — полные, чётко очерченные, часто сжатые, но в те моменты, когда она говорила с презрением, — приоткрытые, подвижные. Тело — длинное, жилистое, рост сто семьдесят восемь, и при длине ног и развороте плеч силуэт объективно...

Да. Объективно красивая. Вывод корректен.

И тогда мозг — минуя все фильтры, все алгоритмы, весь выстроенный порядок — выдаёт другое.

Её лицо у ринга, когда она растерзала Костяна одной фразой. Не красивое лицо — яростное. Глаза горят, зелень становится ядовитой, густой, как купорос. Ноздри раздуваются. Верхняя губа приподнята — не улыбка, звериный оскал, и от этого оскала видно край зубов — мелких, ровных, белых. Косички торчат как змеиные хвосты, жёсткие, агрессивные. И голос — на полтона ниже обычного голоса, с заостренной

статью: «Ты этого не достоин».

Мне нравится её лицо, когда она злится.

Это приходит не как мысль. Мысль — процесс: данные, анализ, вывод. Это приходит как удар — снизу, из темноты, из той части меня, где живёт чёрная вода, и язык этой воды — не мой, и я не просил этот ответ, и у меня нет для него объяснения. Просто всплывает — горячее и тяжёлое — и ложится поперёк всех алгоритмов.

Я ТАК не думаю. ТАКИМ образом. Я никогда так не думал. О людях, о лицах — я прихожу к выводам через анализ, по шагам, и каждый шаг прозрачен, и каждый вывод обоснован, и если я не могу обосновать — я откладываю, жду данных, не тороплюсь. А это — не ждёт. Это уже здесь, уже состоялось, уже заняло место, которое я ему не выделял.

И хуже: я не могу его оттуда убрать. Я пробую — привычный метод, возвращение к книге, к строке, к Канеману, — и строки расплываются, потому что между ними, в белых пробелах, в пустом пространстве между абзацами — зелень. Не спокойная, не мягкая — яростная, ядовитая зелень.

Я молчу слишком долго. Знаю, что слишком долго, — потому, как Дэн наклоняет голову, и его дежурная ухмылка из хитрой становится заинтересованной, как будто он потянул за нитку и нащупал узел.

— О-о-о, — тянет Санёк от зеркала. Он поймал моё лицо в отражении — я не успел перестроиться, и он увидел то, что я обычно прячу: пустую секунду, сбой, белый экран там,

где должен быть ответ. — Вы только посмотрите. Маратик завис. Дэнчик, ты сломал нашу нейросеть одним вопросом.

Лёха перестаёт рисовать. Поднимает глаза.

— Не завис. Он испугался.

Тишина. Короткая — секунда, может, полторы, — но для меня она длится дольше, потому что в ней чёрная вода поднимается ещё на сантиметр и лижет то место, где у нормальных людей находится способность лгать непринуждённо.

Дэн фыркает:

— Да ладно? Кого там пугаться? Страшная, что ли? Укусит?

Лёха качает головой — медленно, один раз — и возвращается к скетчбуку. Карандаш касается бумаги, и мир для него снова становится закрытым контуром. Всё. Разговор, с его стороны, окончен. Лёха делает это часто — скажет одну фразу, точную, как хирургический разрез, и уходит обратно в рисунки.

Я снимаю очки. Протираю линзы — левую, правую, круговыми движениями. Пальцы на стекле, стекло под пальцами, круг за кругом, и за каждый круг — одна мысль укладывается на место, одна дверца закрывается.

— Нормальная, — говорю я. — Просто сложный случай. Техника грязная. Агрессии слишком много.

Голос ровный. Очки возвращаются на переносицу. Всё на месте. Можно продолжать.

Дэн смотрит на меня. На закрытого Канемана. На очки в

моих руках. Ямочка на щеке углубляется — признак того, что он не поверил, и не собирается делать вид, что поверил, потому что Дэн при всей его лёгкости и показном раздолбайстве обладает одним невыносимым качеством: он чувствует ложь, как собака чувствует дым.

— «Нормальная». Маратик, ты знаешь, что «нормальная» в твоём исполнении — это как «ничего особенного» от человека, который только что увидел северное сияние?

— Она действительно... Нормальная.

— Ага. Конечно. Именно поэтому Лёша, человек-рентген, сказал, что ты испугался. Потому что она «нормальная».

Мне нечего на это ответить. Не потому, что он прав, — вернее, не только поэтому. Потому что любой мой ответ сейчас будет защитной реакцией, и Дэн это увидит, и будет копать глубже, и я начну строить стену из слов, и стена привлечёт внимание, потому что я обычно не строю стен в этом гараже. Этот гараж — одно из немногих мест, где стены не нужны.

Должны быть не нужны.

Аня — она убирала инструменты в кожаный ролл, спиной ко всем, но слышала каждое слово, потому что Аня слышит то, что люди не произносят, это её суперспособность, пугающая и незаменимая — подходит и садится на подлокотник моего кресла. Я не двигаюсь. Аня — одна из немногих, кто может нарушать мой периметр без предупреждения. Она знает где проходят границы и не пересекает их, а просто

стоит рядом, обозначая присутствие. Даже сейчас — не прижимается, не наваливается, не кладёт руку на плечо. Просто — рядом. Достаточно близко, чтобы я чувствовал тепло от её тела и запах цитрусовой жвачки. Достаточно далеко, чтобы я мог дышать.

— Ребят, — говорит она мягко, и в этой мягкости — сталь. — Отвалите от человека.

— Я просто спросил!

— Ты не просто спросил. Ты грызёшь. Хватит грызть.

Дэн поднимает руки в знак капитуляции — ладонями вперёд, с зажигалкой в правой, и огонёк вспыхивает и гаснет в последний раз. Аня поворачивается ко мне, и в её глазах — не любопытство. Понимание. Или то, что ближе всего к пониманию из того, что я могу опознать: отсутствие требования. Она ни о чём не спрашивает. Просто сидит рядом секунду — ровно столько, чтобы я почувствовал, что периметр не нарушен. Потом встаёт, проходит мимо Дэна и мимоходом ерошит ему волосы — он привычно уворачивается и привычно не успевает, и его тёмно-русые пряди встают дыбом, и он не поправляет их, потому что с Аней это бессмысленно.

Кир, который все это время снаружи копался в своей Ямахе поднимает голову. Руки по локоть в масле, тряпка через плечо, лицо тёмное, резкое.

— Сань, перестань звенеть кольцом о зуб.

— Почему все сегодня хотят, чтобы я заткнулся?

— Потому что ты не затыкаешься, — говорит Кир и воз-

вращается к мотоциклу.

Санёк прижимает ладонь к губе и с видом великомученика разваливается в кресле. Три секунды тишины. Его пальцы начинают барабанить по подлокотнику. Четвёртая секунда — он ёрзает. Пятая — глаза бегают по гаражу, ища за что зацепиться. Шестая. Семь.

— А знаете, что...

— Нет, — говорят Кир и Дэн одновременно.

Санёк обиженно замолкает. На девять секунд — я считаю. Потом начинает тихо, под нос, мычать мелодию, которую, вероятно, считает неслышной, но которая заполняет тишину, как мелкий дождь — лужу. И я понимаю его. Понимаю это мычание, эту потребность генерировать звук, любой звук, лишь бы не молчать, лишь бы между ним и тишиной оставался хотя бы один слой шума. Перечёркнутый значок тишины на его шее — не украшение. Мандат. Я-включён-навсегда. Потому что выключиться — значит остаться с тем, что внутри.

Я открываю Канемана. Нахожу место, где остановился. Читаю абзац. «Системе 2 приписывается способность к осознанному контролю поведения... Однако ресурсы Системы 2 ограничены, и при их истощении...»

Между строк — зелень.

Не яростная. Другая. То, что было потом — у канатов, когда она стояла с опущенными руками и смотрела на меня без мути, без яда, и на полторы секунды её лицо стало

тем, чем могло бы быть всегда, если бы жизнь не вколотила в каждую мышцу рефлекс захлопываться. Прозрачная зелень. Трава после ливня.

Я читаю абзац в третий раз. В четвёртый.

Закрываю книгу.

— Я поеду, — говорю негромко.

Встаю, убираю Канемана в рюкзак. Мой мотоцикл у дальней стены — белый, чистый, вымытый вчера вечером, потому что это тоже помогает направить мысли куда нужно.

— Домой? — спрашивает Аня.

— Покатаюсь.

Дэн салютует с дивана — лениво, двумя пальцами:

— Не убейся.

Выкатываю мотоцикл за ворота. Ночной воздух — холодный, мокрый, пахнет асфальтом после дождя и чем-то железным, городским. Перчатки. Визор. Ключ. Двигатель просыпается, и вибрация проходит через раму в бёдра, в позвоночник, в основание черепа, и от неё что-то внутри расслабляется, как будто ослабили хомут на трубе, и давление упало, и можно дышать.

Выезжаю на пустую дорогу.

Город ночью — другое пространство. Днём он перегружен: лица, голоса, движения, и каждое нужно обработать, и каждое стоит ресурса, и к вечеру ресурс на нуле, и контроль отключается. Не сразу, постепенно. Ночью город молчит, но это другая тишина — не та, пустая, жрущая, которая бывает

в квартире, когда выключен свет и мозг остаётся один. Это тишина, заполненная скоростью. Заполненная ветром и гулом двигателя и пунктирной разметкой, которая летит под колёсами белыми штрихами, как морзянка, как пульс дороги.

Восемьдесят. Сто. Сто двадцать.

На ста двадцати мысли начинают отставать. Не все — сначала уходят мелкие, бытовые: распорядок, список продуктов, непрочитанные страницы Канемана. Потом покрупнее: Дэн и его «красивая?», Лёхино «испугался», Анин молчаливый кивок. Они отлетают назад, за корму, как брызги из-под колеса, и остаётся только дорога.

Сто сорок.

Мотоцикл входит в поворот, я ложусь вместе с ним — колено в сантиметрах от асфальта, визор заливает жёлтым от фонарей, мир заваливается набок, и в этом крене есть баланс, точный и хрупкий, как на острие ножа. Центробежная тянет наружу, моя масса удерживает внутри. Секунда невесомости — ни туда, ни сюда — и потом выход, выпрямление, и прямой участок, и газ, и горизонт, стянутый в точку.

Сто шестьдесят.

Фонари сливаются в сплошные линии. Звук — в одну ноту, низкую, ровную, заполняющую череп целиком, как вода заполняет стакан, — до краёв, без воздуха. На этой скорости мне не нужно притворяться, носить фасад, выбирать слова, анализировать чужие микродвижения, строить алго-

ритмы для эмоций, которые все вокруг считают за мгновение, а я разбираю по частям, как часовой механизм, и всё равно не слышу тиканья. На этой скорости чёрная вода не поднимается — ей некуда, всё пространство занято скоростью, ветром, физикой. Я — масса, умноженная на ускорение. Формула. Ничего больше.

Сто восемьдесят.

Деструктивный голос молчит. На ста восьмидесяти он молчит всегда, потому что даже ему нечего сказать, когда между тобой и асфальтом — миллиметр резины и одна ошибка.

Но я замедляюсь. Потому что остановки неизбежны. Потому что жизнь — не прямой участок, и рано или поздно дорога кончается, и мотоцикл останавливается, и тишина возвращается, и вода поднимается, и нужно снова открывать книгу, включать Систему 2, заполнять пространство чем-нибудь — чем угодно, — лишь бы не слышать то, что говорит голос со дна.

Сто. Восемьдесят. Шестьдесят.

Красный. Ноги на асфальт. Визор вверх.

Холодный воздух бьёт в лицо, и вместе с ним возвращается всё. Не постепенно, не по одному, разом, как толпа, ломающаяся в открытую дверь.

Её лицо, когда она стояла у канатов без брони. Полторы секунды. Руки вдоль тела. Глаза — зелёные, чистые, прозрачные, без мути, без яда, без барьера. Дрожащие пальцы,

которые она не прятала, потому что забыла, потому что на полторы секунды перестала контролировать — а для неё, я подозреваю, перестать контролировать тело — это то же самое, что для меня снять очки в незнакомом пространстве.

И то, как она разматывала мне бинты. Виток за витком. Ослабляя прежде, чем тянуть, чтобы не содрать кожу. Я не просил. Она не предлагала. Она просто сделала — молча, злясь на себя за то, что делает, злясь на меня за то, что я позволяю, злясь на свои руки, которые оказались бережнее, чем она хотела.

И её подушечки пальцев — по центру моей ладони. Случайно. По инерции. Полсекунды контакта, не больше. Температура: выше средней. Текстура: мозоли на основаниях, мягкая кожа между пальцами. Давление: минимальное, почти невесомое.

Данные. Просто данные.

Зелёный. Визор вниз.

Я еду домой. Медленно. Шестьдесят — по пустым улицам, мимо тёмных окон и спящих дворов. Мозг, лишённый скорости, снова начинает работать, и чёрная вода поднимается до груди, до того места, где тяжесть ощущается как физическое давление, как рука, положенная на рёбра.

Канеман написал: мозг подменяет сложный вопрос простым.

Дэн спросил: красивая?

Мозг ответил: да.

Но вопрос был не в этом. Простой вопрос — красивая или нет — подменил сложный. А сложный звучит так: почему её злое лицо всплыло раньше красивого? Почему именно ярость, а не симметрия скул и не длина ног? Почему мозг, который двадцать два года выдавал мне ответы по запросу, через анализ, по шагам, — впервые выдал ответ, которого я не просил, и выдал его не сверху, из логики, а снизу, из темноты, из того места, где живёт чёрная вода и деструктивный голос?

У меня нет протокола для этого. Нет алгоритма.

И это — опасно. Потому что всё, для чего у меня нет алгоритма, — это брешь. А брешь — это дверца, приоткрытая на миллиметр шире, чем я могу себе позволить. И за дверцей — не та бойцовская управляемая ярость, которую я выпускаю на ринге порциями, по миллилитру. За дверцей — хаос. Тот, у которого нет имени. Тот, от которого я бегу на ста восьмидесяти.

Лёха сказал: испугался. Лёха прав. Лёха почти всегда прав, когда открывает рот, — поэтому он делает это редко. Как снайпер, который экономит патроны.

Я испугался не её. Я испугался того, что мой мозг выдал ответ, которого я не просил. И этот ответ пришёл с языком чёрной воды, горячий, бессвязный, необъяснимый. Но — и вот что пугает по-настоящему — не деструктивный. Впервые не деструктивный.

Паркуюсь. Глушу двигатель. Тишина.

Она приходит сразу — жадная, плотная, — и мозг начинает сканировать пустоту, и голос со дна ворочается, просыпается, и ему есть что сказать, ему всегда есть что сказать, но я уже в движении: шлем на полку, куртка на крючок, ботинки у двери, рюкзак на стул, Канеман на стол. Рутинa. Последовательность. Каждый шаг — кирпич в стене между мной и тишиной.

Снимаю очки. Протираю линзу.

Левую. Правую.

Круговыми движениями, против часовой стрелки.

Завтра — понедельник. Восемь утра. Пустой зал.

Она придёт. Я знаю это: не потому что она пообещала, обещаниям я не доверяю, обещания это слова, а слова — ненадёжный материал. Потому что она видела, как я работаю, и ей это нужно. Она голодна — до техники, до системы, до контроля, которого у неё нет и который я могу дать. Она придёт, потому что хочет стать лучше сильнее, чем хочет меня ненавидеть.

И я буду смотреть, как она двигается. Как бьёт. Как дышит. Как её тело реагирует на дистанцию, на давление, на присутствие в радиусе удара. Мне нужно будет разобрать её технику — каждое движение, каждый рефлекс, каждый паразитный жест — и перестроить. Это работа. Это я могу. Это то, что я умею.

И мне нужно видеть в этом только работу.

Только.

Очки ложатся на тумбочку. Мир расплывается — мягкий, нечёткий, без границ. Без очков я слепну не к деталям — к правилам. Границы размываются, структура рассыпается, и мне становится трудно отличить то, что я должен, от того, что я хочу. Поэтому я сплю в темноте. В темноте нечего разглядывать, нечего разбирать, и мозг, лишённый входящих данных, замедляется. Иногда — засыпает.

Иногда — нет.

Ложусь. Закрываю глаза. Темнота. Тишина.

Голос со дна — тихий, неразборчивый, как радиопомехи — ворочается, бормочет что-то про прошлое, про несправедливость, про злость, про желания, и я сжимаю кулаки под одеялом и жду, пока он устанет. Он устаёт. Всегда устаёт. Главное не слушать, не вступать в диалог, не давать ему материала. Просто ждать, как ждёшь, пока пройдет дождь или утихнет ветер.

И когда он затихает, я проваливаюсь в сон.



Плейлист к книге

Running Up That Hill— Placebo

Let Go— Frou Frou

After Dark— Mr.Kitty

Paradise Circus— Massive Attack, Hope Sandoval

(Instrumental)— Jang Jane

Nyx— Brad Arthur, Tokyo Project

Roads— Portishead

Lumière - Lumière à l'Aube— Lorien Testard

Gustave— Lorien Testard

In The End - Mellen Gi Remix— Tommee Profitt, Fleurie,
Mellen Gi

Hello— Evanescence

Can't Help Falling In Love - DARK—Tommee Profitt, brooke

Wicked Game—Emika

Paper Boats (feat. Ashley Barrett)—Darren Korb, Ashley Barrett

Forecast—Darren Korb

In Circles (feat. Ashley Barrett)—Darren Korb, Ashley Barrett

Setting Sail, Coming Home (End Theme)—Darren Korb

Cold, Sweater (Rework Iday)—Ihar Komar, iday

Ghosts—John Murphy

Haze—breathe.

Old Friends (Hummed) [feat. Ashley Barrett]—Darren Korb, Ashley Barrett

Бабочки—Глюк'oZa

Ghosts With Heartbeats— Plastic Patina

I will— Chelsy

Smiling down— ONE OK ROCK

TONIGHT— iwilldiehere, DVRKLXGHT, LONOWN

THE DEATH OF PEACE OF MIND— Bad Omens

Angel— Massive Attack, Horace Andy

Death Is No More - Super Slowed— dxncing dxvil, lucii.

Farewell - Remastered— Arkadiusz Reikowski, Mary Elizabeth McGlynn

Living in the Shadows— Matthew Perryman Jones

In the House - In a Heartbeat— John Murphy

Everything Ends Here— Gunpowderbob

I Hold You— CLANN

Salty Seas— Devics

Who Will Save You Now— Les Friction

Dreams in Mind— FifteenEight

Can't Love Myself— Monty Datta, Mishaal Tamer

Toxic— 2WEI

WEATHER— Koste

Iris— The Goo Goo Dolls

French Cartoon— Brainstorm

nightmares— skyfall beats

AMETHYST— Osias

DAYWALKER! (feat. CORPSE)— mgk, CORPSE

Fortune's Fool— Hiatus

like you're god— mehro

Глава 5. Рина: Анализ

Семь пятьдесят семь.

Я сижу на лавочке во дворе спорткомплекса и кручу в руках свёрнутый моток бинта. Просто кручу. Разматываю на пол-оборота, сматываю обратно, разматываю, сматываю. Это не имеет никакого смысла — июльское утро уже тёплое, асфальт под кроссовками успел нагреться от первого солнца, бинты я всё равно буду мотать в зале, как нормальный человек. Но руки нужно чем-то занять, иначе я полезу в телефон, а в телефоне со вчера ровно ноль новых сообщений, и от этого факта мне почему-то ещё хуже, чем если бы там было что-то плохое.

Я смотрю, как стрелка на наручных часах ползёт к двенадцати, и за эти три минуты успеваю передумать всё, что передумала за выходные, по второму кругу. В животе тянет так, будто я не на тренировку пришла, а на собеседование, на которое уже опоздала.

Полвосьмого я уже сидела на этой лавочке и переписывала в голове сценарии того, как он на меня посмотрит, что скажет первым, как я отвечу, чтобы вышло остро и в то же время не как у истеричной школьницы. Из этих сценариев ни один не годился. В каждом я звучала по-разному, но одинаково плохо.

Восемь.

Я сую моток в карман шорт, поднимаюсь и иду к двери.

Я толкаю дверь, и в нос ударяет знакомый запах: разогревающая мазь, кожа перчаток, влажная пыль от мата. Зал ещё пустой, кондиционер только разгоняется, утренний свет лежит на полу длинными жёлтыми прямоугольниками, в которых медленно крутится пыль.

Он уже здесь.

Стоит в центре зала, у ринга, спиной ко мне. Чёрная футболка с короткими рукавами, серые спортивные, белые волосы — чуть расстрепаны, и от этого вид у его затылка непростительно домашний. Он что-то записывает в маленький блокнот. Не в телефон. В бумажный блокнот, ручкой, и от этой ручки, мелькающей в его огромных пальцах, мне становится не по себе сильнее, чем от любого его взгляда.

— Доброе утро, — говорит он, не оборачиваясь.

Я застываю у порога. Он услышал, как открывается дверь? Узнал шаги? Я даже не дышала громко.

— Доброе.

Получается ровно. Хорошо.

Он закрывает блокнот, убирает в задний карман и оборачивается. Очки на месте — тонкая металлическая оправа, и за ней те же светлые серые глаза, спокойные, как два круглых стёклышка из аквариума, в котором никто не живёт. Никакой улыбки. Я благодарна ему за это. Если бы он улыбнулся своей фарфоровой улыбочкой, я бы развернулась и ушла.

— Разминка двадцать минут. Скакалка, динамическая,

суставная. Я не смотрю. Просто разогревайся.

Не «привет, как настроение». Не «давай знакомиться поближе». Сразу к делу, ровным низким голосом, в котором каждое слово стоит ровно столько, сколько весит. И в этом — первая трещина в моей подготовленной обороне: я не знаю, что делать с тренером, который не хочет ничего, кроме того, чтобы я работала. С Мишей можно было попрепираться и повалить дурака.

Я молча иду в дальний угол, к зеркалам. Бросаю сумку. Достаю скакалку.

Двадцать минут проходят так, словно я тренируюсь одна в пустом зале. Он действительно не смотрит. Сидит на нижнем канате ринга, длинные ноги на полу, локти на коленях, в руках блокнот, и пишет, пишет, пишет. Что? Что там можно писать столько времени, если не смотреть на меня?

Я скриплю зубами и считаю обороты. На семьдесят пятом ловлю себя на том, что слежу за ним в зеркале. Поправляюсь: пытаюсь не следить и от этого слежу ещё пристальнее. Его профиль в утреннем свете кажется мягче, чем я помню по субботе. Длинные ресницы. Прямая линия носа. Губы расслаблены, не сжаты — он не напряжён, он просто пишет, как обычный человек, который зашёл в кафе с книгой.

Двести.

Дверь открывается. Заходят гимнастки — три из шестерых, кучкой, заспанные, с открытыми спортивными сумками наперевес. Алиса в их числе. Та самая, что в субботу пер-

вая ему улыбнулась. Ее легко узнать по каштановому хвосту, который она каждое утро поправляет одинаковым жестом, и по лицу, на котором даже в восемь утра нанесён аккуратный полупрозрачный мейк.

Они громко здороваются, и Алиса поворачивает голову в сторону Марата. Он поднимает глаза от блокнота. Кивает. Возвращается к записям.

Я быю скакалкой пол.

Не специально. Сбилась с ритма. Перехватываю рукоятки покрепче и продолжаю — двести двадцать, двести тридцать, и в зеркале вижу, как Алиса делает что-то очень характерное: вместо того, чтобы пойти к шведской стенке, идёт к стойке с водой. А стойка с водой стоит ровно по ту сторону ринга, где сидит Марат, и значит, идти к ней — это идти мимо него.

Она это делает медленно. Покачивая бёдрами в обтягивающих лосинах ровно настолько, чтобы это не выглядело вульгарно, но было заметно с любой точки зала. Подходит к воде. Наливает в стаканчик. Оборачивается через плечо — у неё хорошо отрепетированный поворот, я знаю, я несколько раз видела, как она тренирует его перед зеркалом, — и говорит что-то Марату.

Я не слышу слов. Слишком далеко, и кондиционер шумит. Но я вижу её лицо: тёплая, открытая улыбка, наклон головы, прядь, заправленная за ухо.

Двести пятьдесят.

И тут происходит то, от чего у меня в груди что-то делает

короткий неприятный кульбит.

Марат отвечает. Я не слышу что, но по движению его губ — короткая фраза, две-три. Голову от блокнота он поднимает ровно на ту высоту, чтобы Алиса видела его глаза. Уголки рта приподнимаются. Это не улыбка. Это её чертеж, аккуратно собранный: мышцы в нужном положении, наклон — на градус, морщинки у глаз — лёгкие, ненавязчивые.

И всё это время — всё это время, пока его лицо разговаривает с Алисой, — его глаза держат меня.

Точнее, моё отражение в зеркале.

Я перехватываю взгляд, увожу его в пол, считаю четыре оборота скакалки, и поднимаю снова. Алиса всё ещё стоит, теперь чуть ближе к нему, что-то говорит. Его улыбка вежливая, его наклон вежливый, его кивки вежливые. И серые линзы за ними — направлены мимо неё, через её плечо, в зеркало, прямо в мои зрачки.

В горле у меня сухо, как будто я три часа дышала ртом на ветру.

Алиса говорит ещё что-то. Он отвечает что-то короткое, явно — судя по её выражению — означающее «извини, мне нужно работать», потому что она поправляет хвост ещё раз, бросает короткое «ну ладно», и идёт обратно. Стаканчик в руке. Хвост покачивается. Бёдра — нет, обиделась.

Её маршрут лежит мимо моих зеркал. Она не должна была идти этой дорогой — её шведская стенка в другом конце зала, — но идёт, и я уже знаю зачем. Поравнявшись со мной,

она замедляется на полшага и говорит, не глядя в мою сторону, ровно так, чтобы услышала только я:

— Твои змеи прямо как живые, Медуза. Глаз не оторвать. Смотри, чтобы не намотались на скакалку — больно будет.

И уходит, не дожидаясь ответа. Хвост покачивается. Я смотрю ей в спину, потом снова в зеркало — и обнаруживаю, что моток скакалки в моей руке сжат так, что рукоятка скрипит.

И до меня медленно, как из тумана, доходит: он не флиртовал.

Я столько раз видела чужой флирт, я знаю, как он выглядит, интонации, угол наклона головы — и я только что засчитала это как флирт по чистой инерции, потому что внешне всё совпало. А на самом деле — нет. Я смотрю на его лицо, когда он возвращается к блокноту, и оно гладкое, ровное, как поверхность воды в стакане. Никаких следов. Ни румянца на скулах, ни приподнятого уголка губ для себя, ни той дурацкой полусекундной паузы перед возвращением к делам, которая бывает у людей, которым только что было приятно от чужого внимания.

Ему не было приятно. Ему не было неприятно. Ему было — никак. Он выдал ей то, что от него ждут, — учтивый кивок, две вежливые фразы, ровно столько, чтобы не показаться невежливым, — и в этом, в этой выверенной точности, я вдруг чувствую что-то странное. Не отвращение. Не презрение. Что-то ближе к жалости, и от этого мне делается обидно,

потому что жалеть его последнее, что я собиралась делать.

«Да в нём хоть что-то живое есть?» — думаю я, и тут же злюсь на себя за этот вопрос. Какое мне дело, что в нём живое и что нет. Мне нужна его техника. Не его душевное устройство.

Триста.

Я бросаю скакалку. Сматываю в моток. Иду к лавочке, достаю из сумки бинты и сажусь мотать — пора переходить к мешкам. Я уже разогретая, по виску ползёт первая капля, футболка прилипла между лопаток, и в голове у меня всё ещё стоит «глаз не оторвать», и от этого пальцы работают резче, чем нужно. Запястье — петля, восьмёрка через большой палец, обхват пясти. Привычно. Глаза в пол.

— Подожди.

Я поднимаю голову. Он идёт ко мне неторопливо, и я в зеркале считываю походку: мягкая, с переносом веса на переднюю часть стопы, ноль лишних движений в плечах. Так ходят кошки. Большие кошки.

Он останавливается напротив лавочки.

— Бинты, — говорит он, протягивая руку.

— Сама.

— Я знаю, что сама. Я хочу посмотреть, как ты мотаешь.

Я застываю с размотанным мотком в руке.

— Зачем?

— Чтобы понять, как ты обращаешься с собственными запястьями.

Ровный профессиональный интерес: он будет смотреть, как я мотаю, потому что ему это нужно для работы.

Я начинаю мотать. На запястье — петля, восьмёрка через большой палец, обхват пясти, накладки на костяшки, и каждое движение мне знакомо до мышечной памяти, я могу это делать с закрытыми глазами, во сне. Но он стоит в полуметре, и я чувствую тепло его тела, и от этого пальцы становятся чужими, толстыми, как сосиски, и бинт неровно ложится на пясть, и я перематываю один виток, и злюсь, и перематываю снова.

— Не так, — говорит он тихо.

— Что не так?

— Слишком туго на запястье. Слабо на костяшках. Будет смещаться при первом же ударе.

— У меня всю жизнь так и держится.

— Поэтому у тебя суставы на левой руке слегка отёкшие.

Я опускаю взгляд на левую кисть. Он прав. Я заметила это утром, когда умывалась — лёгкая припухлость над лучезапястным суставом. Я списала на усталость. На что угодно, кроме того, что неправильно мотаю бинты последние два года.

— Покажи правильно, — слова выходят сквозь зубы, и я с удивлением слышу, что это почти просьба.

Он молча берёт моток.

И вот к этому я не готова.

Его пальцы. Я уже видела его руки в субботу, когда мота-

ла ему сама, но видеть и чувствовать — две очень разные вещи. Он берёт мою кисть в свою ладонь, и моя рука в его кажется кукольной — он удерживает её, не сжимая, без давления, просто на ладони, как на подставке. Тыльная сторона его пальцев — горячая. Ровно горячая, не пылающая, а такая, какой бывает кружка с чаем, оставленная на пять минут.

Он начинает. Медленно. Витки ложатся ровно, плотно, но без удавки, и я чувствую, как ткань натягивается на коже именно с той силой, которая нужна. Его большой палец придерживает край бинта на моём запястье, и подушечка этого пальца лежит точно в том месте, где у меня под кожей бьётся пульс, и я чувствую как этот пульс отдаёт ему в палец. Тук-тук-тук. Чуть быстрее, чем хотелось бы.

Намного быстрее.

— Восьмёрка через большой палец идёт сверху, — говорит он, и в его голосе абсолютно ничего, ноль, плоско, как у диктора на радио. — Ты тянешь снизу.

— Какая разница.

— При прямом ударе бинт смещается в направлении натяжения. Если тянешь снизу — сползает с костяшек. Если сверху — фиксируется.

Он показывает. Витком, ещё одним. Его пальцы двигаются быстро, экономно, и я смотрю на них, потому что это важно, и потому что очень хочется посмотреть выше, но смотреть на его лицо сейчас — неудобно, его лицо слишком близко, в полуметре от моего, я чувствую его запах: ничего осо-

бенного, чистая хлопковая футболка, мыло, и что-то еще. Что-то автомобильное, масло, бензин, металл. Непонятно.

— Сожми кулак, — говорит он.

Я сжимаю. Бинт плотно ложится на костяшки, не съезжает, держится так, как будто стал второй кожей.

— Чувствуешь разницу?

— Чувствую.

— Хорошо.

Он отпускает мою руку. Берёт правую. Повторяет всё с другой стороны, и я закрываю глаза, потому что больше не могу следить за его пальцами, за серьёзностью его лица, за тем, как он сосредоточен на моём запястье, как будто это самое важное запястье в его жизни. У меня в висках стучит, и я говорю себе: это от утренней разминки, это от скакалки, это от того, что я не позавтракала. Это не от него. Это не от него.

— Было бы лучше, если бы ты следила. Готово.

Я открываю глаза. Он отступает на шаг. Возвращается к своему блокноту. Делает короткую пометку.

— На мешки, — говорит он. — Двадцать минут. Делай как обычно. Я смотрю.

Я иду к мешку, и каждый шаг отдаётся в висках. Это плохо. Это очень плохо. Я не должна так реагировать на руки тренера. Я не должна вообще так реагировать на чьи-либо руки, потому что мои руки — это инструмент, и его — это инструмент, и инструменты не делают со мной то, что только

что сделали его руки.

А хуже всего то, что он заметил. И — ничего.

Я бью мешок.

Грязно. Я знаю, что грязно — я знаю это с первого удара, потому что злюсь, потому что хочу пробить эту его невозмутимость, его блокнот, его вежливую улыбку. Я бью лоу — слишком далеко, мешок отлетает по дуге, не возвращается, я вынуждена ловить его рукой. Я бью двойку — правая выходит за линию плеча, я раскрываюсь, как новичок на первом спарринге. Я бью апперкот — и проваливаюсь корпусом вперёд, потеряв опору.

И всё это — под его взглядом. Я не вижу его, я к нему боком, но я чувствую этот взгляд так, словно мне между лопатками вставили иглу.

Костян приходит в зал в восемь сорок. Я слышу его голос ещё в коридоре — он громко рассказывает что-то Тимуру, и громкий голос у Костяна — это синоним «я хочу, чтобы все обратили на меня внимание». Он заходит, видит Марата у моего мешка, делает вид, что не видит, и идёт к стойке с гантелями. Каждые тридцать секунд оборачивается.

Я начинаю серию. Джеб, кросс, лоу, уход. Джеб, кросс, лоу, уход. И на пятой серии Марат говорит:

— Стоп.

Я останавливаюсь. Дыхание сбито, по виску стекает капля пота, она зависает на подбородке и срывается на грудь футболки.

— Что?

— Подойди.

Я подхожу. Он стоит у мешка, и я снизу вверх смотрю на его лицо, и мне физически приходится задирать подбородок, и от этого положения мне почему-то ещё злее.

— Перед атакой, — говорит он, и его голос ровный, как линейка, — ты смещаешь центр тяжести вправо.

— Не смещаю.

— Смещаешь. На два сантиметра, может, на три. Каждый раз. Перед джебом, перед кроссом, перед двойкой — всегда вправо.

— Чушь.

— Покажи серию ещё раз. Медленно. Я хочу, чтобы ты сама почувствовала.

Я отступаю к мешку. Делаю серию медленно. Джеб. Кросс. Лоу.

И — твою мать.

Я чувствую. Он прав. За долю секунды до того, как левая идёт в джеб, моё бедро уходит вправо. Едва. Я бы никогда не заметила сама. Это движение настолько вшито в моё тело, что стало частью базовой стойки, частью того, как я вообще стою на земле.

— Видишь? — спрашивает он мягко.

— Вижу.

— Знаешь, почему?

— Что почему?

— Почему смещаешь.

Я молчу. В горле бухает пульс. Я знаю, почему. Я знаю это с двенадцати лет, потому что в двенадцать лет всё, что было слева от меня, было опасным. Слева была дверь. Слева был коридор. Слева приходило ночью то, от чего нужно было уворачиваться, и моё тело запомнило это направление и больше никогда не забывало.

— Тебе страшно сокращать дистанцию, — говорит Марат, и голос его настолько ровный, без жалости, без сочувствия, что мне становится легче дышать. — Ты боишься ближнего боя. Поэтому перед атакой ты заранее готовишь себе путь отхода вправо. Это происходит само.

Я смотрю в пол. Мне нужно полсекунды, чтобы лицо обратно собралось, и я даю себе эти полсекунды, потому что иначе он увидит то, чего я ему видеть не позволю.

— И что ты с этим будешь делать? — спрашиваю я в линолеум.

— Пока ничего. Я сказал — первая неделя только диагностика. Просто хочу, чтобы ты знала.

Я поднимаю голову. Он смотрит на меня — без снисхождения, без победного блеска, без этого мерзкого «я-же-говорил» — просто смотрит, как смотрят на пациента, у которого только что взяли анализ крови и зачитывают результат.

— Сколько часов в день ты тренируешься? — спрашивает он.

— С восьми до восемнадцати.

— Шесть дней в неделю.

— Да.

Он опирается плечом о стену рядом с мешком. Скрещивает руки. У него длинные предплечья, и когда он скрещивает руки, его бицепсы натягивают тонкую ткань футболки так, что я заставляю себя смотреть ему в лицо, а не на руки.

— Восемь-девять часов в день — это много, — говорит он. — И мало.

— Что это значит?

— Это значит, что десять часов — это слишком много, чтобы успеть восстановиться. И мало для большого спорта. Там ты встаешь в 5:30, и каждый твой день расписан по часам, плюс правильная еда, плюс физиотерапия. Я смотрю на твои руки и вижу, что у тебя нет физиотерапевта. Я смотрю на твои круги под глазами и вижу, что ты не досыпаешь. Я смотрю на твой обед — батончик и кофе, я видел в субботу — и понимаю, что ты не ешь то, что нужно. Десяти часов в зале мало, если остальные четырнадцать ты живёшь как человек, который тренируется три раза в неделю.

Я открываю рот. Закрываю.

— Думаешь, этого достаточно, — продолжает он тем же ровным голосом, — чтобы пробиться в большой спорт?

— Сейчас, — говорю я, и голос у меня ровный, потому что я заставляю его быть ровным, — я могу заниматься только в это время.

Он чуть прищуривается. Совсем чуть-чуть, на милли-

метр, но я ловлю это движение, и я вижу, как он что-то сложил в этот свой блокнот в голове. Не в бумажный, в тот, который у него за лбом. «Есть причина, которую она не называет. Зафиксировал. Запомнил».

— Если бы я могла заниматься больше, — добавляю я, — я бы занималась больше.

— Хорошо.

— Что хорошо.

— Хорошо, что я знаю.

— Что ты знаешь?

— Что у тебя есть ограничения, о которых ты не хочешь говорить.

И вот тогда я делаю единственную правильную вещь за всё утро.

Я молчу.

Я не объясняю. Я не оправдываюсь. Я не говорю «не лезь не в своё дело», потому что это значило бы признать, что есть дело, в которое не нужно лезть. Я смотрю на него снизу вверх, ровно, без злости, без вызова, и в его лице тоже ничего не меняется, и мы стоим так, может, секунду, может, три, и в этой паузе вдруг — впервые — я чувствую, что мы говорим на одном языке. На языке того, что не произносится.

— Перчатки, — говорит он наконец. — Будем работать лапы.

— Лапы? Уже?

— Не для постановки удара. Для того, чтобы я почувство-

вал твои руки.

Я надеваю перчатки. Он надевает лапы — большие, плоские, обтянутые потёртой искусственной кожей. Поднимает руки на уровень моей головы.

— Джеб.

Я бью. Глухой шлепок.

— Ещё.

Бью. Он не двигает лапу — она остаётся точно на месте, и моя перчатка приходит в её центр, и сквозь лапу я чувствую: он принял удар всей рукой, не одной кистью. Удар не отскочил — он погас. Как камень, который бросают в песок.

— Двойка.

Бью. Раз-два. Левая, правая. Его лапы шевелятся ровно настолько, чтобы встретить мою руку, и от этой точности у меня внутри что-то сжимается, потому что я понимаю: он не работает с моим ударом. Он работает с моим телом. Каждое его движение лапы — это диагностический инструмент, и я под этим инструментом голая, и нет ни одного слоя, через который он не видит.

— Левый хук.

Я бью. И в момент удара он чуть-чуть, на сантиметр, сдвигает лапу влево.

Мой кулак промахивается на этот сантиметр, проваливается мимо, и я по инерции иду вперёд — туда, где должна была быть лапа, туда, где я решила её достать. Корпус идёт первым, ноги не успевают, и я понимаю — за долю секунды,

за тот самый невозможный кусочек времени, в который тело уже знает, а голова ещё нет, — что я сейчас упаду ему на грудь.

Он не хватает. Не сжимает. Подставляется — внутренней стороной предплечья, выше лапы, там, где кожа открыта, — и встречает меня у ключицы, у основания шеи. Ровно столько усилия, чтобы я не упала вперёд.

И всё.

Я застываю с поднятым кулаком в воздухе. Между его кожей и моим плечом — тонкая ткань футболки, и через неё я чувствую, что его предплечье сухое, тёплое, тяжёлое, и эта тяжесть приходится точно в то место, где сходятся все нервы, идущие в руку. У меня вниз по позвоночнику прокатывается что-то, чему я не могу подобрать слова. Не дрожь. Не холод. Что-то, что прокатывается *под* кожей, а не по ней.

Полсекунды. Может быть, секунда.

Он убирает руку не сразу, а с задержкой на четверть вдоха — будто проверяет, точно ли я стою, точно ли можно отпустить, — и в этой задержке я слышу, как он *тоже* делает один лишний вдох. Короткий. И мы оба делаем вид, что ничего не было.

— Шаг назад, — говорит он. Тихо.

Голос ровный. Серые глаза за линзами — снова пустые. Если бы я не чувствовала ещё его предплечье у себя на ключице призраком, я бы поверила, что мне это всё показалось. Я отступаю.

— Что это было, — спрашиваю я хрипло. И сама не знаю, про что я спрашиваю. Про сдвиг лапы. Про руку. Про его вдох.

— Я хотел увидеть, что ты делаешь, когда промахиваешься.

Он отвечает только на первое. На остальное он отвечать не будет, и я это знаю, и он знает, что я знаю.

— И что я делаю?

— Идёшь вперёд. По инерции. Не успеваешь восстановить баланс. Это плохо. Если ты не попадёшь в большом бою, противник поймает тебя в момент проваливания. Это будет конец.

— Поняла.

— Не уверен.

— Что значит «не уверен»?

— Что ты слышала слова. Я не уверен, что ты слышала смысл.

Я задираю подбородок. Он стоит надо мной, на голову выше, и в моих лапах перчатки сжимаются.

— Объясни-ка.

Он молчит секунду. Две. Я чувствую, как Костян у дальней стены перестал поднимать гантели и пялится на нас. Я чувствую, как гимнастки у шведской стенки тоже остановились. Зал стал тише, и в этой тишине Марат произносит — ровно, низко, без капли давления:

— Смысл в том, что когда ты промахиваешься, твоё те-

ло продолжает идти туда, куда ты целилась. Не туда, где опасно. Не туда, где ты восстановишь равновесие. Туда, где ты решила достать противника. Это значит, что ты выходишь на каждый удар как на последний. И если он не попадёт, у тебя нет плана «Б», потому что плана «Б» в твоей голове не существует.

Я молчу.

— Это не техническая проблема, Марина, — говорит он, и моё имя в его рту звучит... Аккуратно. — Это про то, как ты дерёшься. Про то, что ты всегда идёшь до конца, даже если конца не будет. Это можно использовать. И это можно убить. Я хочу научить тебя так, чтобы и то, и другое было твоим выбором, а не рефлексом.

Я смотрю в его лицо снизу вверх.

И что-то во мне делает то, чего я не ожидала.

Что-то во мне опускается.

Не сдаётся — я не сдаюсь, я никогда не сдаюсь, это не в моих генах. Но что-то внутри, какая-то крошечная плотина, которая всё утро держала во мне воду, дала трещину, и оттуда сочится не страх и не злость, а что-то третье, чему я не знаю названия. Это похоже на облегчение. Как если бы я двадцать лет несла рюкзак, набитый камнями, несла, потому что несла всегда, а сейчас кто-то подошёл и просто сказал: «У тебя в рюкзаке камни». И от этого ничего не изменилось — камни всё ещё в рюкзаке, мне их нести — но впервые в жизни я не одна знаю, что они там есть.

Я отворачиваюсь. Стягиваю перчатки зубами, потому что руки заняты, и плюю их на лавочку.

— Тренировка не закончилась, — говорит он.

— Закончилась.

— Марина.

Голос у него тот же, низкий, ровный. Без давления. Без «вернись». Просто моё имя — второй раз за это утро.

Я оборачиваюсь.

Я не должна оборачиваться. Я знаю, что не должна. Я знаю, что в правильной версии меня — той, которую я двадцать лет собирала по запчастям, — я не оборачиваюсь, я толкаю дверь, я выхожу, я больше сюда не возвращаюсь, потому что человек, который видит тебя насквозь спустя полтора часа, не просто напрягает. Он пугает до одури, потому что такой человек опасен.

Но я оборачиваюсь.

И смотрю ему в лицо.

И в его лице — впервые за это утро — есть что-то, чего там не было раньше. Не жалость. Жалости я бы не вынесла. Не сочувствие. Не «я понимаю, как тебе сейчас». Что-то более тихое и более точное. Он *знает*, что если я сейчас выйду, я выйду не на сегодня. Я выйду насовсем. И он не хочет, чтобы я выходила навсегда. И это «не хочет» — не его тренерская гордость, не «я не люблю, когда от меня уходят». Он не хочет этого для меня.

Это длится секунду и я успеваю в этой секунде передумать

всё, что собиралась сказать.

— Перерыв, — говорю я.

Голос у меня хриплый, но ровный. И это — единственное, чем я сейчас могу гордиться.

Он кивает. Один раз. Ровно.

— У тебя час, — говорит он. — Вода — внизу в кафе, пол-литра, минералка, не сладкая. По такой жаре ты работаешь на резерве — я по тебе вижу. Возвращайся.

Не «возвращайся, пожалуйста». Не «жду». Просто «возвращайся», в тон всему остальному, и от этой ровности у меня под рёбрами что-то отпускает — потому что он не делает из моего «перерыва» событие, не делает из меня жертву, не делает из себя спасителя. Он просто планирует следующий час.

Я киваю. Беру сумку. Иду к двери.

У двери, на самом краю зрения, я вижу, как Костян отрывается от стойки с гантелями и идёт через зал. К Марату. В его походке — голод. Тот самый, который я знаю по себе: голод человека, который полтора часа смотрел, как другому ставят технику, и понял, что тренер у них теперь общий, и значит, можно подойти и попросить. Я слышу за спиной его голос:

— Марат, а со мной поработаешь? Я тут лоу никак не...

Дверь закрывается, и я не слышу ответа.

И от этого мне делается странно. Не ревниво — нет, какая ревность, я только что чуть не сбежала. Но что-то близкое.

Что-то про территорию. Теперь он будет работать и с Костяном, и завтра подойдёт ещё кто-нибудь, потому что когда в зале появляется тренер, который ставит руку за десять минут, к нему выстраиваются. И я, выходящая на час в кафе, — всего лишь одна из очереди. Просто первая.

В коридоре я прислоняюсь спиной к стене и дышу. Глубоко, носом, выдох ртом. Раз. Два. Три. На пятом я понимаю, что не дрожу. Совсем. Пальцы спокойные, ровные, как у нормального человека, который только что вышел из обычного зала после обычной тренировки.

И от этого мне страшнее, чем было бы от любой дрожи, потому что это значит, что в этом зале что-то стало по-другому, и я не уверена, что хочу понимать что именно.

Я смотрю на свои руки. Бинты по-прежнему намотаны так, как намотал их он. Пясть зафиксирована ровно. Запястье впервые за два года не ноет. И я понимаю — глупо, мелко, но это первое, что приходит в голову, — что я не разматывала бинты с момента, как он их замотал. Не сжимала и не разжимала кулаки. Не проверяла. Просто носила их на себе сорок минут и не замечала.

Я разжимаю кулак. Бинт держит. Сжимаю — держит.

Я отлепляюсь от стены.

Час до возвращения. Кафе внизу. Минералка, не сладкая. Час — это много, можно успеть многое. Можно купить воды. Можно дойти до парка и сесть на скамейку. Можно позвонить Тане. Можно открыть телефон и закрыть его обратно.

Можно постоять у окна на лестничной площадке и посмотреть, как июльское солнце ползёт по стене дома напротив.

А можно сесть на ступеньку, прямо здесь, под дверью зала, и просто подышать.

Я сажусь на ступеньку.

И в мозгу девочки, которая только что была готова все бросить, напялить желтый рюкзак, или розовый или зеленый, и пойти разносить заказы, ворочается одна противная, неудобная, упрямая мысль: никуда я не уйду.

Через час я войду обратно.



Глава 6. Марат: Сбой Системы

Неделя укладывается в систему. Почти.

Понедельник: она приходит ровно в восемь. И я понимаю, что эта пунктуальность — не случайность, а стратегия: я не жду её, она не ждёт меня, потому что ждать означает нуждаться, а нуждаться означает слабость. Я в зале с семи, но она об этом не узнает.

И всё проходит лучше, чем я ожидал, если не считать одного минутного испуга, одного неверного порыва, когда моя первая подопечная чуть не покинула зал навсегда, потому что я сказал что-то не так. Что-то в моих словах заставило её инстинктивно захлопнуться, как раковину, которой коснулись кончиком пальца.

Я умею подбирать слова. Подбирать, находить то единственное сочетание, которое идеально подойдёт конкретному человеку в конкретную секунду, — так я живу в обществе, так я коммуницирую, так я выстраиваю мосты через пропасть между своим внутренним миром и чужим. Возможно, в тот раз я подобрал слова слишком хорошо. Возможно, далеко не все люди хотят быть поняты на том уровне, на котором я научился их понимать, и для кого-то такое понимание — не мост, а взлом, вторжение в помещение, куда тебя не звали и где на стенах развешано то, что не предназначено для чужих глаз.

Так или иначе, из-за моего просчёта человек, обладающий огромным потенциалом — без прикрас, без натяжки, — едва не бросил занятия. И это мой второй день.

Вторник: стойка. Я ставлю её перед зеркалом и прошу простоять в базовой позиции три минуты. Просто стоять. Ноги на ширине плеч, левая впереди, колени чуть согнуты, руки у подбородка. Не бить. Не двигаться. Стоять.

— Три минуты. Просто стоять.

— Просто стоять.

— Да.

— Это шутка, Марат? Я шесть лет занимаюсь. Ты мне будешь стойку ставить?

— Да.

Скрежет зубов. Этот звук я уже выучил, как музыкант выучивает вступительный такт: он всегда означает, что она подчинится, но заставит меня за это заплатить. Встаёт в стойку. Первые тридцать секунд — безупречно: вес распределён ровно, центр тяжести низко, спина как натянутая тетива, от которой ещё не оторвалась стрела. Я обхожу её по кругу, медленно, на расстоянии двух метров, и считаю секунды, и жду, и на сороковой вижу: правое бедро дрогнуло. Крошечное смещение таза вправо, два-три сантиметра — она этого не замечает, потому что движение живёт глубже сознания, в том древнем, рептильном слое мозга, который не умеет врать и не умеет подчиняться приказам. Тело заранее строит себе

коридор для побега. Не от мешка. Не от воображаемого противника. От фигуры за спиной.

На пятидесятой секунде смещение усиливается. Она начинает разворачивать корпус, пытаясь поймать меня в поле периферийного зрения, и от этого движения стойка расползается, как мокрая глина под пальцами: левое плечо уплывает назад, открывая рёбра, передняя нога теряет опору, и вся конструкция, которая полминуты назад была безупречной, превращается в набор компромиссов между «стоять правильно» и «видеть, где он».

Я останавливаюсь перед ней.

— Ты чувствуешь?

Челюсть окаменела. Она чувствует.

— Бедро, — говорит сквозь зубы. — Вправо.

— Да.

— Когда ты за спиной.

— Да.

Тишина. Гул кондиционера, далёкий звон гантелей в противоположном конце зала, приглушённый смех гимнасток у шведской стенки — и посреди всего этого обыденного шума мы стоим друг напротив друга, и между нами висит нечто, для чего ни у неё, ни у меня пока нет подходящего слова.

— Я хочу это убрать.

Не вопрос, не просьба. Голос лязгает, как затвор, досланный в патронник. Она ненавидит эту трещину в себе яростнее, чем ненавидит меня, — а меня она ненавидит креп-

ко, основательно, с тем упорством, которое у неё вообще во всём: в ударах, в словах, в молчании.

— Можно. Потребуется время.

— Мне плевать, сколько. Выбивай это из меня.

Она смотрит мне в лицо, и в её зрачках стоит такая концентрированная решимость, что воздух между нами уплотняется, делается вязким и тёплым, как перед грозой.

— Выбьем, — говорю я.

Среда: лапы. Её левый джеб стал короче на три сантиметра — ровно на ту длину, которая отделяет хороший удар от отличного. Три сантиметра меняют всё: удар приходит быстрее, возврат быстрее, окно для контратаки сужается до игольного ушка, и противнику, который привык к её прежнему таймингу, придётся перестраиваться на лету. Я фиксирую прогресс в блокноте, но вслух молчу. Рано хвалить. Она из тех, кого похвала пугает сильнее критики, потому что критику можно отбить, а от похвалы нечем защититься — она проникает под кожу и делает тебя уязвимым перед тем, кто её произнёс.

Четверг: уклоны. Она опаздывает на семь минут. Влетает в зал с мокрыми волосами, косички заплетены не полностью, одна болтается у виска свободной прядью, и на скуле, у левого глаза, свежая ссадина — розовая, с корочкой, не успевшей потемнеть.

Семь минут опоздания. Мокрые волосы. Ссадина.

Три версии: упала, ударилась, ударили. То, что живёт на самом дне, не дожидается ни одной из них. Оно просыпается мгновенно, узкое, сфокусированное, как луч через увеличительное стекло. Если её ударили, этой части меня не нужен анализ.

Я давлю это. Жёстко, всем весом, всем, чем могу. Блокнот. Цифры. Структура.

— Разминайся, — говорю ровно.

Она уходит к зеркалам. Мои пальцы на блокноте продавливают картон насквозь.

Мы работаем уклоны: я веду ладонь слева, медленно, горизонтально, на уровне её головы. Она ныряет — плечо к бедру. Ещё раз. Чуть быстрее. Десять минут, двадцать. Она входит в ритм, и этот ритм становится общим, моим и её: я веду, она уклоняется, и наши тела начинают двигаться синхронно, как два маятника, которые качаются в противофазе, но с одной частотой. На двадцать пятой минуте я добавляю скорость, и моя ладонь проходит в сантиметрах от её виска, от ссадины, от того, о чём я не имею права ни спросить, ни тронуть.

Она выныривает из уклона, и на паузе между нырком и возвратом её лицо проходит мимо моего корпуса — пять сантиметров воздуха, пропитанного потом, мазью и цитрусовым шампунем. Мой пульс: восемьдесят два удара в минуту. Норма: шестьдесят четыре. Разница в восемнадцать уда-

ров — вот столько она стоит, вот во сколько мне обходится её близость, переведённая в язык, который мой мозг понимает лучше всего.

Ещё нырок, и на возврате её плечо мажет по моим рёбрам, мимолётное касание, от которого волосы на предплечье встают дыбом, и я знаю, что должен увеличить дистанцию, отступить на полшага, вернуть себе буферную зону. Но не могу. Ноги остаются на месте, и я не знаю, кому из нас двоих — мне или тому, что внутри, — принадлежит это решение.

На тридцатой минуте я делаю движение резче, чем следует. Она ныряет слишком глубоко, центр тяжести уходит вниз и вперёд, кроссовки проскальзывают по линолеуму, мокрому от её же пота, и мир вдруг переключается в режим замедленной съёмки, в котором я вижу каждый кадр по отдельности: как она теряет опору, как её тело наклоняется вперёд, как её руки инстинктивно ищут, за что ухватиться.

Рефлекс бьёт раньше мысли. Шаг навстречу. Правая рука ложится под её грудную клетку, левая впечатывается в поясницу. Остановка мгновенная. Она влетает лицом мне в ключицу, и её пальцы вцепляются в мои плечи, ногти впиваются сквозь ткань, и я чувствую каждый из этих десяти крошечных уколов по отдельности, как десять раскалённых иголок.

Её вес в моих руках. Лёгкий, живой, вибрирующий от адреналина. Сбитое горячее дыхание обжигает кожу над воротом футболки — каждый выдох, как прикосновение мокрых

губ, хотя никаких губ нет, есть только воздух, нагретый её лёгкими. Запах бьёт по рецепторам так, что мозг на секунду превращается в белый шум, и сквозь этот шум то, что живёт на дне, делает бросок — не чтобы ломать, не чтобы рвать, а чтобы удержать, впитать, прижать ближе. Мои пальцы на её талии напрягаются, на долю секунды фиксируя крепче, чем нужно для равновесия, и я чувствую под ладонью, как работают её косые мышцы живота, как сокращаются и расслабляются волокна, и это знание — лишнее, ненужное, опасное.

Она замирает. Пальцы на моих плечах сжимаются. Потом скидывает голову.

Её лицо близко. В глазах нет паники — дикое, первобытное напряжение, от которого у меня пересыхает во рту. От которого хаос на дне жадно тянется к ней, как растение к единственному источнику света в тёмной комнате.

— Пусти, — хрипит она.

Разжимаю руки. Сразу. Она отшатывается на шаг, дышит тяжело, и ссадина на скуле наливается кровью — тёмной, густой, проступающей сквозь корочку, как сок через кожуру перезрелого граната.

— Перерыв, — говорю я.

Она сдёргивает с крючка полотенце, бьёт им по лавочке — зачем, непонятно, просто выплеснуть куда-нибудь то, что не помещается внутри, — и садится.

Возвращается через пять минут. Полотенце на шее. Лицо закрыто, запечатано. Она не встаёт в стойку. Просто оста-

навливается напротив, упереv руки в бока.

— Меня от тебя тошнит.

Голос тихий, но тяжёлый. Каждое слово можно было бы взвесить на ладони.

— Упражнение было слишком интенсивным? — спрашиваю ровно. Фасад. Мне нужен фасад.

— Засунь свои протоколы в задницу, — она делает шаг ко мне, вздёрнув подбородок. — Меня тошнит от твоей пластиковой маски. От этих вежливых кивков, от библиотечного тона. На ринге с Витей ты был живой. Опасный, просчитывающий на три шага вперёд — но живой. А сейчас ты строишь из себя непонятно что.

Молчу.

— Люди, которые так идеально держат лицо, всегда что-то прячут, — чеканит она, и каждое слово падает отдельно, как гильза на бетонный пол. — И обычно это что-то очень хреновое. И я считаю — прости мне мою дерзость — что люди сами имеют право решать, хотят они иметь дело с тем, что ты из себя представляешь, или нет. Каким бы поганым или распрекрасным ты ни был. Но ты не даёшь. Ты фальшивый насквозь.

Она переводит дыхание — резко, рвано, как будто выныривает из-под воды.

— Мне не нужен стерильный робот вместо тренера, Марат. Тебе самому не тесно в этой картонной коробке? Кого ты пытаешься наебать? Меня? Или себя?

Я мог бы сейчас проанализировать. Разложить по полочкам: проекция, перенос, защитный механизм. Наклеить ярлык, спрятаться за латинским термином, как за щитом.

Смотрю на неё. На сведённые брови, на ссадину, на влажные крапинки пота у виска, на то, как подрагивает мышца у её рта — она зла, она в ярости, но под этой яростью прячется что-то другое, что-то, что не умеет говорить громко и потому кричит чужим голосом.

И то, что живёт на дне, перестаёт биться в стены. Затихает. Подходит к решётке и смотрит на неё — моими глазами.

Тело чуть подаётся вперёд, наклоняясь к ней. И я это не контролирую. Это контролирует не та часть меня, которая выстраивает фасады и протирает линзы.

— Я никого не пытаюсь наебать, Фаттахова. Не тебя точно.

Голос тихий. Глухой. Ни одной сглаженной ноты, ни одного выверенного угла. Просто голос из того места, куда я никого не пускаю, с той территории, границу которой я предпочитаю не пересекать даже в собственных мыслях.

Она замирает. Дыхание стопорится, и я вижу, как зрачки расширяются, почти затапливая зелёную радужку чёрным, и грудная клетка медленно опускается на длинном выдохе, и острые углы на лице исчезают — не разглаживаются, а именно исчезают, как будто кто-то провёл ластиком по карандашному рисунку, — и на их месте проступает что-то оглушённое, растерянное. Выражение человека, который ждал удара

и получил тишину, и не знает, что с этой тишиной делать, потому что всю жизнь учился держать удары, а уворачиваться от тишины — нет.

Она не произносит ни слова. Никакого яда, никакой контратаки. Просто делает медленный шаг назад, разрывая плотную, звенящую тесноту между нами. Сглатывает — мышца на шее дёргается.

Она увидела достаточно.

Марина разворачивается и идёт в раздевалку. Спина прямая, косички бьют по лопаткам в такт шагам. Держит строй до конца. У двери задерживается на секунду, не оборачивается.

— Завтра в семь пятьдесят, — роняет она. Голос хриплый, глухой.

Дверь захлопывается. Снимаю очки. Протираю линзы.

Пятница: спарринг с тенью. Я ставлю её перед зеркалом — три раунда по три минуты с минутным отдыхом. Стою в двух метрах за спиной и наблюдаю.

Её отражение дерётся с противником, которого видит только она, и по лицу, по нарастающей силе ударов, по тому, как сужаются глаза и каменеет подбородок к третьему раунду, я понимаю: она дерётся не с тенью. Она дерётся с кем-то конкретным — кем-то, кто живёт не в зеркале, а в её голове, и живёт там давно, и она бьёт его каждый день, и каждый день он не падает. Её кулаки входят в воздух так, как

входят в живую плоть: с ненавистью, с отвращением, с тем особенным остервенением, которое бывает только у людей, дерущихся с собственной памятью.

Каждый вечер после каждой тренировки я сижу в раздевалке и переношу наблюдения в блокнот. Углы, градусы, скорости, паузы между ударами, частота дыхания на первой минуте и на десятой, микросмещения корпуса, реакция на мою дистанцию, реакция на мой голос, реакция на моё молчание. Цифры, стрелки, схемы — язык, на котором я понимаю мир, единственный язык, в котором нет двусмысленностей и ловушек.

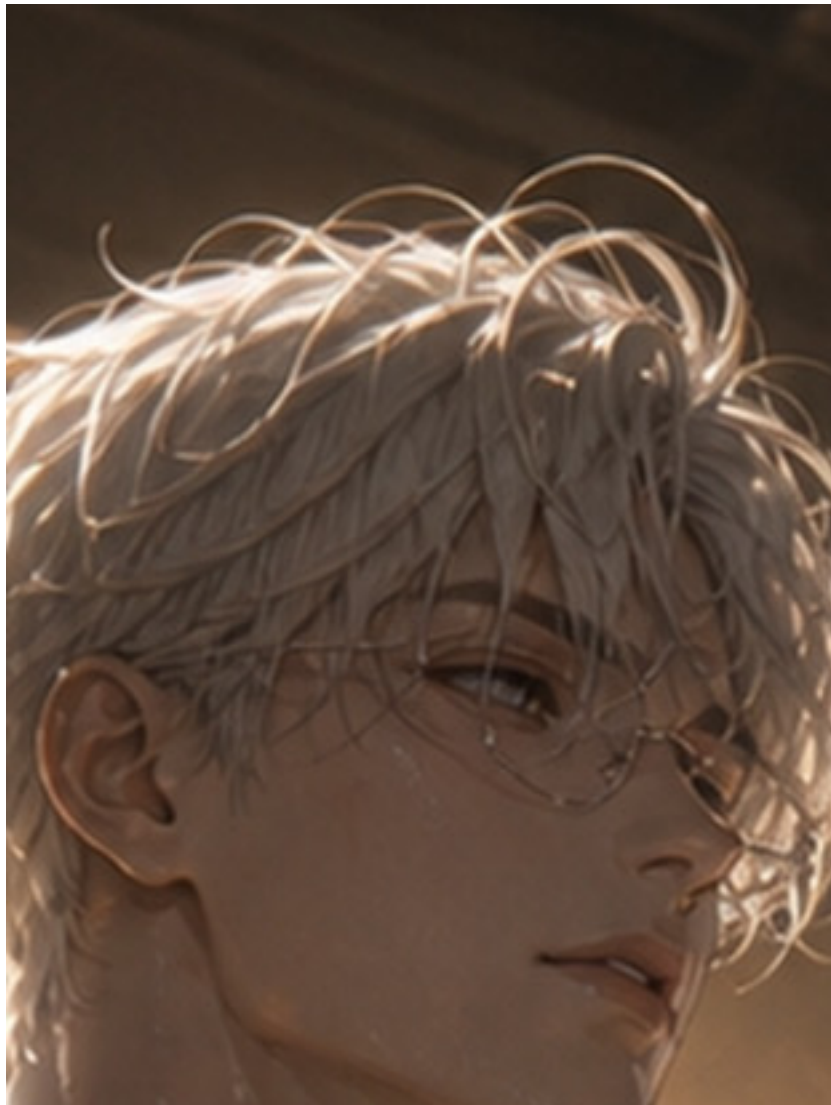
Но между цифрами, в пробелах, где должна быть чистая бумага, скапливается другая информация.

Как она закусывает нижнюю губу, когда пытается пробить серию на скорости и не успевает вернуть руку, — и на губе остаётся белый полукруг от зубов, который медленно наливается розовым. Как от пота темнеет ткань на спине ровно между лопаток, и этот влажный треугольник повторяет линию позвоночника, и я ловлю себя на том, что мог бы нарисовать его по памяти с закрытыми глазами. Как она пьёт воду после раунда, запрокидывая голову, и на горле под тонкой кожей ходит вверх-вниз кадык, и с подбородка срывается капля и прочерчивает дорожку до ключицы, и я провожаю эту каплю взглядом, а потом возвращаюсь к блокноту, и строчка расплывается перед глазами, как будто кто-то капнул водой на свежие чернила.

Это не данные. Это мусор. Шум, который забивает канал, и с каждым днём шума больше, а канал уже, и к пятнице я ловлю себя на том, что запомнил, сколько раз она облизнула губы за тренировку. Четырнадцать. Число, не имеющее никакого отношения к технике кикбоксинга. И тот факт, что оно хранится в моей памяти рядом с углом её локтя при апперкоте — в том же разделе, с тем же приоритетом, — означает, что система дала сбой.

Я не даю сбоев. Не могу себе этого позволить. Потому что сбой — это не ошибка в расчётах, которую можно стереть ластиком и переписать начисто. Сбой — это трещина в полу над подвалом, а в подвале живёт то, что я закладываю книгами и контролем, как мешками с песком закладывают бомбу, чтобы при очередной детонации понести минимальный ущерб. То, что не имеет имени, зато имеет голод, и голод этот ненасытен, и единственное, что я могу с ним делать, — не открывать дверцу, не давать материала, не кормить.

А Марина Фаттахова кормит его каждый день, сама того не зная.



Глава 7. Марат: Белый ужас

Суббота.

Она опаздывает на две минуты. В моей выверенной, стерильной системе координат любые опоздания фиксируются как сухая погрешность. Индифферентно. Но сегодня я ловлю себя на том, что считал секунды. Сто двадцать мучительных, пустых секунд, в каждой из которых я прислушивался к шороху в коридоре, гадая, придёт ли она вообще.

Дверь наконец открывается.

Впервые она заходит в зал в коротком спортивном топе. Всю неделю она тренировалась в глухих, мешковатых футболках — обычных, серых и чёрных на пару размеров больше, которые полностью скрывали её тело от ключиц до бёдер. Я — её тренер. Я выучил её биомеханику наизусть, я по миллиметру знаю, как работают её плечи и ноги. Но сегодня июльская жара её доконала. Брони нет. На ней только чёрные спортивные на низкой посадке и узкий чёрный топ-бра, полностью открывающий плечи, спину и плоский, твёрдый живот.

Она небрежно бросает сумку на скамейку, а я смотрю на то, что всё это время было скрыто под просторным хлопком. Знать, как она двигается, — это одно. Увидеть неприкрытую физическую реальность — совсем другое. Литой, сухой рельеф пресса, уходящая вниз под резинку штанов ли-

ния косых мышц живота. И синяк. Потемневший, рваный, он очерчивает её рёбра с левой стороны — след пропущенного мидл-кика, который раньше полностью скрывала ткань футболки. Дельты, напряжённые до каменного состояния.

Она перехватывает мой взгляд. Её подбородок мгновенно взлетает вверх, плечи каменеют, натягивая невидимую броню обратно.

— Жарко, — бросает она. Её голос звучит как наждачная бумага — колючая, агрессивная защита от вопроса, который я даже не собирался задавать.

Система 2 педантично каталогизирует данные: новая гематома в области левых рёбер, гипертонус дельтовидных мышц, явная нехватка восстановления.

Но то, что спит на самом дне, плевать хотело на каталоги. Оно просто смотрит на этот след чужого удара на её обнажённой коже, и я чувствую, как мои челюсти смыкаются с такой силой, что начинают ныть корни зубов.

— Разминка, — глухо говорю я, опуская глаза в блокнот. Линии на бумаге расплываются в бессмысленную сетку.

Первый час тренировки идёт штатно. На втором мы переходим к работе на ближней дистанции, и именно здесь её механизм даёт сбой.

На дальней и средней дистанциях она дерётся безупречно — зло, хлётко, точно. Но стоит мне перешагнуть невидимую черту, сократив радиус до длины согнутого локтя, как её тело начинает фонить глухой, животной паникой. Она пыта-

ется замаскировать её агрессией: плечи ползут к ушам, зрачки расширяются до черноты, удары становятся размашистыми и грязными. Она бьёт лапы не для того, чтобы отточить технику. Она бьёт, чтобы отогнать меня. Чтобы отвоевать себе спасительную буферную зону.

— Я буду держать лапу здесь, — я фиксирую руку у своей груди. — Тебе придётся сделать полный шаг вперёд, чтобы достать.

— Вижу.

— Серия: джеб, кросс, левый хук.

— Вознесенский, я знаю серию.

— Знаешь. Но мне нужно, чтобы ты сделала шаг.

Она стискивает зубы. Бинты на её костяшках уже потемнели от пота.

— Какой ещё шаг? Я за тренировку делаю тысячу шагов.

— Этот будет другим.

— Почему?

— Потому что он сократит дистанцию между нами до сорока сантиметров.

В зале повисает тишина. Кондиционер гудит, температура на дисплее — двадцать шесть градусов, но воздух вокруг нас уплотняется, становится тяжёлым и влажным, словно мы стоим в эпицентре собирающейся грозы.

Она бросает серию. Джеб. Кросс. Левый хук.

Технически — чисто. Но шаг снова обрывается. Она тормозит своё тело в пятидесяти сантиметрах от меня, словно

натывается на невидимую высоковольтную стену. Оставшиеся десять сантиметров она добирает опасным, смазанным наклоном корпуса. Хук теряет треть мощности и лишь вскользь мажет по лапе.

— Ещё раз.

Удар.

Пятьдесят сантиметров. Наклон. Скольжение. Её тело саботирует приказ раньше, чем мозг успевает это осознать.

— Ещё.

Снова. То же самое. Блок. Остановка.

— Марина.

— Что?

— Ты не доходишь.

— Я быю нормально!

— Ты бьёшь на восемьдесят процентов своих возможностей. Тебе не хватает десяти сантиметров. Одного жалкого полушага.

— Десять сантиметров ничего не решают, — она тяжело дышит, её грудная клетка и плоский, влажный от пота живот ходят ходуном.

— Они решают всё. В реальном бою это разница между чистым нокаутом и грязным клинчем, в котором тебя сомнут.

Её глаза сужаются.

— Знаю, — цедит она сквозь зубы.

— Знаешь. Но не хочешь исправлять.

— Я не хочу? — зелень в её глазах вдруг густеет, превращаясь в тёмный, ядовитый омут. Голос падает в низкую, почти рычащую вибрацию, от которой у меня по коже бежит холодок. — Ты правда думаешь, что я боюсь подойти ближе?

— Я думаю, что твоё тело боится. Твоя голова — нет.

— Моё тело делает ровно то, что я ему приказываю!

— Нет. Твоё тело делает то, чему его научили. И учила его не ты.

Она застывает.

Прямо посреди замаха, с поднятой рукой, с крепко сжатым кулаком. Она замирает так тотально, так жутко, что пропадает даже её вечный нервный тремор в пальцах.

Сигнал тревоги воет в моей голове. Я не должен был этого говорить. Я пересёк границу, вышел за рамки углов и градусов. Это был прямой, несанкционированный удар в то место, которое обороняет вся её агрессия.

Она размыкает губы очень медленно.

— Тебе бы диссертацию писать, а не людей тренировать, — слова падают тяжело, как куски свинца. — Складно у тебя выходит. «Тело научили, голова не знает». Красиво. Ты ведь всё это в свой блокнотик запишешь, да, Вознесенский?

— Марина...

— Только ты забыл одну вещь.

Она шагает ко мне.

Не на десять сантиметров. Она делает один полный, тяжёлый шаг, вбивая кроссовок в линолеум, и врезается в моё

личное пространство так резко, что воздух выбивает из лёгких. Расстояние сокращается до тридцати сантиметров.

Её лицо оказывается так непростительно близко, что я вижу мелкие, влажные крапинки пота на её висках и то, как быстро бьётся пульс на её шее.

— Я не уравнение, — шипит она, глядя на меня снизу вверх, и в её глазах плещется чистая, неразбавленная ярость. — И не паттерн. И не ввод данных в твою грёбаную систему.

Её горячее, рваное дыхание оседает на моей шее. Запах соли, ментоловой мази и резкого цитруса забивает рецепторы, прошивая все фильтры насквозь.

Мои пальцы под лапами немеют. Мышечная память бьёт тревогу, требуя немедленного действия — оттолкнуть, перехватить, разорвать дистанцию. Базовый рефлекс бойца на вход в мёртвую зону. Но зверь на дне блокирует нейронный сигнал. Он не позволяет мне сдвинуться. Ему не хочется её отталкивать. Ему впервые захотелось, чтобы кто-то остался прямо здесь. В радиусе поражения.

Она вошла в эту зону сама. Преодолела свой главный страх ради ярости, ради атаки — но вошла. В этом единственном, отчаянном шаге было больше подлинной информации, чем во всей моей картотеке.

Мой профессиональный протокол требует: при агрессии и нарушении дистанции со стороны клиента — немедленно отступить. Увеличить расстояние. Но мои ноги словно вросли в бетон. Хаос внутри меня замирает, одуревший от её бли-

зости. От того, как бесстрашно она бросает вызов тому, кого должна бояться. Он вдыхает её злость и категорически отказывается уступать территорию.

— Ты права, — говорю я. Мой голос звучит пугающе ровно, но внутри, за натянутыми связками, всё гудит от статического электричества. — Моя ошибка.

— Что, прямо так и признаёшь? — она не отстраняется. Ни на сантиметр.

— Да. Я пересёк границу. Не должен был.

Она моргает. Один раз. За эту долгую секунду, пока её ресницы опущены, я делаю глубокий вдох, заталкивая обратно тьму, которая впервые не хочет убивать, а хочет чего-то совершенно иного. Чего-то, чему в моём каталоге просто нет названия.

— Так ведь ты это нарочно сделал, — её голос вдруг теряет лезвие, становится глуше, интимнее. В нём появляется странная, почти гипнотическая хрипотца. — Сказал специально. Чтобы я разозлилась. Чтобы шагнула.

Я смотрю на её приоткрытые губы.

— Нет.

Она смеётся — сухо, коротко.

— Врёшь.

— Нет.

— Значит, ты просто ляпнул лишнее, а оно случайно совпало с тем, что мне нужно было услышать?

Я не рассчитывал. Мне просто стало физически невыно-

симо смотреть, как она бьётся о невидимую стеклянную стену внутри себя. Мои слова вышли раньше, чем Система 2 успела их отфильтровать. Это был мой личный сбой.

Из-за неё.

Она сканирует моё лицо, пытаясь найти там издёвку или ложь. Я не прячусь. Я не трачу ни одного байта энергии на поддержание фасада. Я позволяю ей смотреть прямо в ту бездну, которую обычно сдерживаю изо всех сил. Между нами сейчас тридцать сантиметров плотной, наэлектризованной тишины, в которой мою Систему 2 медленно затапливает чёрной водой.

— Ладно, — выдыхает она наконец. Почти примирительно. Её плечи опускаются. — На первый раз прощаю. Но если ещё раз полезешь в мою голову без стука, я откручу твою.

— Учту.

— Учти.

Она медленно отступает. Воздух между нами разжимается, и я чувствую себя так, словно только что вынырнул с огромной глубины.

Она возвращается к лапам. Третья серия, левый хук. Она делает полный шаг. Сорок сантиметров. Удар вколачивается в плотную кожу лапы у моей груди с таким пушечным грохотом, что Костян у дальней стены вздрагивает и роняет гантель.

Позже я открываю блокнот и записываю: «40 см. Хук — 100% мощности».

Двенадцать пятнадцать. Она стягивает перчатки и бросает их в сумку.

— По субботам у меня короткий день, — роняет она глухо, не глядя на меня. Вжикает молнией. — Я ушла.

Короткий день. Четыре часа вместо привычных десяти. Мой мозг, отчаянно цепляясь за привычный алгоритм анализа, мгновенно выстраивает гипотезы.

Первая: восстановление. Отпадает. С её маниакальным упорством она не знает, что такое отдых.

Вторая: работа. У неё нет спонсоров, а спорт требует денег. Смена курьером на выходных — логично. Вписывается в профиль.

Третья: кто-то ждёт.

Мозг ставит эту гипотезу в очередь, как любую другую. Кто-то ждёт. Подруга, родственник, близкий человек. Стандартный набор социальных связей. Я начинаю перебирать вероятности, прикладывая к каждой имеющиеся данные: она не упоминала друзей, не звонила при мне никому, кроме... Она писала кому-то в субботу, в первый день, я видел, как она доставала телефон на лавочке перед залом, и её лицо при этом менялось — не расслаблялось, но теряло остроту, как будто на секунду из неё вынимали все иглы разом.

Парень.

Слово проскальзывает мимо фильтров, и я даже не сразу понимаю, что оно появилось не в логической цепочке, а от-

куда-то снизу, из того подвала, куда я складываю всё, что не укладывается в систему. Я возвращаю его обратно. Ставлю рядом с другими вариантами. Оцениваю.

Девушка, которая при сокращении дистанции до полуметра начинает задыхаться. Девушка, которая так маниакально защищает свои личные границы и смотрит на мужчин исключительно как на потенциальный источник угрозы. И парень. Мужчина рядом.

Вероятность того, что она добровольно впускает кого-то в свою жизнь на уровне физической близости, стремится к нулю. Это я знаю. Это подтверждают все собранные данные.

Но данные — это статистика, а статистика не знает исключений, пока не встретит их. И где-то в пространстве между второй и третьей гипотезой, в том зазоре, который должен быть заполнен логикой, — пусто. Не пусто как «нет данных». Пусто как «яма». Как провал грунта, в который ты ступаешь, думая, что под ногой асфальт.

Я пытаюсь вернуться ко второй гипотезе — курьерская смена, деньги, логистика, — но мозг, обычно послушный, проскальзывает мимо, как колесо по льду, и снова оказывается у третьей. Кто-то ждёт. Кто-то конкретный. Кто-то, для кого она стягивает перчатки в двенадцать пятнадцать, хотя могла бы работать до шести.

Я не понимаю, что со мной происходит.

Это не злость — злость я каталогизировал давно, она у меня разложена по типам и интенсивностям, от лёгкого раз-

дражения до того кипящего столба, что поднимается из самого нутра. Это не обида — обида предполагает ожидание, а я ничего от неё не жду.

Но внутри всё равно что-то есть. Что-то незнакомое, плотное и горячее, расположенное между диафрагмой и желудком, и оно реагирует на слово «парень» так, как моё тело реагирует на звук удара за спиной: сжатием, мобилизацией, приливом крови к мышцам. Как будто где-то появился противник, которого я не вижу и не могу оценить.

Я пробую разобрать это по частям, как разбираю всё. Физический компонент: сжатие в солнечном сплетении, повышенный тонус жевательных мышц, лёгкое учащение пульса. Когнитивный: навязчивое возвращение к одной и той же мысли, невозможность переключиться, заикленность. Эмоциональный компонент: ...

Пустая ячейка. Я не могу назвать это чувство, потому что у меня для него нет слова. В моём каталоге есть «тревога», «фрустрация», «гнев», «страх», «удовлетворение» и ещё сорок семь единиц, каждая промаркирована и снабжена описанием. Но это — ни одна из них. Это что-то совсем новое, неиспытанное до этого момента, не внесённое в реестр, и от самого факта существования не внесённого в реестр чувства мне становится по-настоящему не по себе, потому что незарегистрированное — значит неконтролируемое, а неконтролируемое — значит опасное.

Я закрываю блокнот. Убираю ручку.

Она ушла к кому-то. Это не моё дело. Это за периметром. Это не имеет отношения к технике кикбоксинга, к углу её локтя, к провисанию между кроссом и лоу.

Но внутри, в подвале, зверь ворочается и скребёт когтями по бетону, и впервые когти оставляют следы не от злости. А от чего-то, чего я не умею ни назвать, ни погасить, ни про-считать.

Костя стоит у стойки с перчатками. Рядом трутся Лёня и Тимур. Аудитория. Стоит Косте оказаться при зрителях, как в нём тут же включается ущербная программа компенсации собственной ничтожности.

— Заметили, как Медуза прям расцвела на этой неделе? Маратик ей лапки подставляет, Маратик с ней шепчется у мешочка...

Лёня гнусаво хихикает.

— Она наверно думает, раз её тренирует красавчик, она теперь, блядь, принцесса. А на деле Медуза бешеная. Ей дома, по ходу прилетает нормально. По роже видно, что в зубы выпрашивает. И ей, походу, это нравится.

Лёня ржёт, сыто и мерзко запрокинув голову. Тимур отводит глаза в пол.

В первую секунду не происходит ничего. Белый, звенящий вакуум. Слова просто входят в слуховой канал, как абстрактный набор звуков.

А потом чёрная вода поднимается.

Она не накатывает привычным, ленивым приливом, который я могу отследить и остановить. Она бьёт снизу одним кипящим столбом. Прошивает позвоночник, взрывается в основании черепа. Мир по краям заливается мутным багровым светом.

Никакого буфера. Никакого времени на спасительный анализ. Грязные слова — удар по нервам — красная пелена.

Система 2 захлёбывается в этой крови, но из последних сил цепляется за единственное, что ещё может: удержать фасад. Все вычислительные мощности, весь контроль уходит только на то, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул.

Я медленно закрываю блокнот.

Иду к Косте.

Мой шаг мягкий, пружинящий. Плечи расслаблены. На лице — улыбка, которую я собирал годами перед зеркалом. Безупречная. Тёплая. Понимающая. Идеальный фарфор поверх раскалённого, слепого бешенства.

— Костя, — мой голос звучит спокойно, с аккуратными согласными. — Некрасиво обсуждать коллег за глаза. Ты не находишь?

Костя оборачивается. Его грязная ухмылка чуть плывёт — первобытный животный инстинкт предупреждает его, что соотношение масс в пространстве катастрофически изменилось. Но Лёня стоит рядом. Отступать перед зрителями нельзя.

— Да ладно, Марат, чё ты, — тянет он, пытаюсь сохранить

лицо. — Я ж так, шучу. Юмор. Слышал про такое?

— Слышал, — мягко говорю я.

Моя правая рука плавно поднимается.

Ложится ему на плечо. Дружески. Покровительственно. Мой большой палец ложится на его ключицу, а широкая ладонь тяжело обнимает трапециевидную мышцу.

Я не даю этой команды.

Мой мозг кричит «стоп». Система 2 бьётся в предсмертной истерике. Но мои пальцы, которые совсем недавно фиксировали углы её ударов, неумолимо сжимаются.

Они безошибочно находят добавочный нерв в основании его шеи. И вдавливают его в кость. Анатомически выверенно. Так, как намертво вбито в мою мышечную память на самом тёмном, первобытном дне.

Костян не успевает даже вздохнуть. Воздух выбивает из его лёгких вспышкой чистой, ослепительной боли. Он издаёт тонкий, сдавленный, животный визг. Его колени моментально подламливаются. Он оседает на пол, как пустой мешок. Его лицо белеет мгновенно, а глаза распахиваются так широко, что радужка видна целиком, окружённая белком животного ужаса.

Мои пальцы разжимаются, когда сведённая судорогой мышца выскальзывает из-под ладони.

Рука безвольно повисает вдоль тела.

Я смотрю на неё. На свою руку. Подушечки горят. Я чувствую на них фантомный, липкий отпечаток чужой агонии,

которую я только что причинил. Без перчаток. Вне ринга. Просто потому, что этот кусок мяса открыл грязный рот в её сторону.

Очки привычно сидят на переносице. Дужки надёжно давят за ушами. Предохранитель был включён на максимум. Фасад держал идеально. Я улыбался ему.

Но зверь вырвался, протёк в мою правую руку и хладнокровно сделал то, что хотел.

— Ты чего, блядь?! — сипло хрипит Костян с пола, баюкая висящую плетью руку. По его лицу катятся слёзы боли. — Ты ёбнутый?!

— Прости, — так же мягко говорю я, глядя на него сверху вниз. Моё лицо абсолютно спокойно. — Не рассчитал усилие.

Я плавно разворачиваюсь и иду в раздевалку.

Каждый шаг — принудительный. Поднять ногу. Опустить. Перенести вес. Я разбираю процесс ходьбы на базовые составные, потому что понятия не имею, что моё тело сделает дальше, если дам ему хотя бы секунду воли.

Тренерская. Дверь. Замок.

Я тяжело сажусь на деревянную скамейку. Кладу руки на колени.

Они трясутся.

Обе. Крупной, судорожной, неконтролируемой дрожью. Это не мои руки. Это руки того чудовища, что живёт под водой.

Меня накрывает белый ужас.

Красная ярость — понятна. Она горит, ломает кости и гаснет. Но стоять с вежливой, мягкой улыбкой, пока твои пальцы парализуют живого человека — это значит, что весь мой контроль иллюзорен. Защиты нет.

Я срываю с лица очки. Руки трясутся так сильно, что тонкая оправа выскальзывает и падает на кафель со стуком, похожим на треск ломающейся кости.

Сжимаю кулаки на коленях до хруста суставов, впиваясь ногтями в ладони. Физическая боль — это информация, а информация — это контроль.

Раньше подобные срывы происходили только из-за угрозы жизни. Из-за крови своих.

Сегодня в зале не было крови. Были только слова. Грязные, жалкие слова про девчонку, которая должна была остаться для меня просто рабочим контактом в телефоне.

Но она пробила мой железобетонный саркофаг. Просочилась внутрь. Стала своей. Без моего допуска. В обход всех протоколов безопасности. И мой внутренний зверь без колебаний среагировал на угрозу.

Пятнадцать минут. Дрожь постепенно стихает.

Я наклоняюсь, поднимаю очки с пола. Надеваю.

Потеря контроля. Триггер: вербальная агрессия в адрес Марины Фаттаховой. Реакция: физическое воздействие без осознанного решения. Вывод: радикально расширить дистанцию.

Вычеркнуть. Стереть. Жёстко перевести в статус рабочего контракта. Заставить себя перестать замечать её мокрую спину, желтеющие синяки на руках и то, как она прикусывает губу, когда злится.

Я встаю и выхожу из раздевалки.

Воскресенье.

Весь день я провожу на трассе, выжимая из мотоцикла максимум. Восемьдесят, сто двадцать, сто шестьдесят. На ста шестидесяти навязчивые мысли начинают отставать.

На пустой заправке, в девять вечера, под мёртвым, мигающим неоном, я глушу мотор. Достāju телефон.

В чате Своры тонна непрочитанных сообщений.

Открываю.

Дэн[14:02]: парни кто в валорант играть

Санёк[14:03]: Я! Я! Я!

Санёк[14:03]: БЛЯЯЯ подождите только колонку переподключу она опять отвалилась

Дэн[14:04]: сколько у тебя колонок

Санёк[14:04]: семь

Дэн[14:04]: в однушке

Санёк[14:04]: иммерсивный звук бро. ты не понимаешь

Кир[14:06]: Зайду

Лёха[14:09]: Я пас

Санёк[14:09]: Лёхааа ну дааавааай

Лёха[14:10]: пас

Санёк[14:10]: Лёха. ЛЁХА. Мы же команда. Братство.
Кольцо всевластия. Хоббиты. Мы не бросаем хоббитов

Лёха[14:11]: я не хоббит

Дэн[14:11]: @Марат ты как

Дэн[14:15]: @Марат

Дэн[14:22]: алё, библиотека!

Я набираю:

Марат[21:03]: Я уже играл с тобой в валорант

Дэн[21:04]: ЖИВ

Дэн[21:04]: Мы уже закончили, но, Маратик. Друг. Свет
моих очей. Это сессионная игра. Типа повторяющиеся мат-
чи. То, что ты сделал 40 киллов за одну катку, ещё не значит,
что ты прошёл игру

Санёк[21:05]: ПОГОДИ. 40 КИЛОВ???

Санёк[21:05]: ЗА ОДНУ КАТКУ

Санёк[21:05]: Маратик ты читер или робот

Марат[21:06]: Я целился в голову. Она большая

Рэм[21:06]: я знаю, у кого еще большая голова

Санёк[21:06]: У кого у кого

Рэм[21:07]: у того, кто мне сегодня целый день слал мемы
с Басковым и Киркоровым. Маратик, присмотрись

Санёк[21:08]: Я действовал в рамках закона, одумайся!

Рэм[21:09]: если бы ты действовал вне рамок закона, я бы
натравил на тебя Дэна

Дэн[21:10]: Завтра можем повторить вечером

Санёк[21:12]: ЗАВТРА ДНЁМ ДА ДА ДА

Дэн[21:13]: Вечером, идиот

Санёк[21:15]: только я возьму дуэлиста. Сегодня Кир мне не разрешил и я страдал

Кир[21:16]: Ты страдал потому что промахиваешься

Санёк[21:16]: ЭТО БЫЛО ВСЕГО ПАРУ РАЗ

Кир[21:16]: Ты умирал первым каждый раунд

Дэн[21:17]: зато у тебя отличный вкус в музыке, Сань

Санёк[21:17]: ПРЕДАТЕЛИ

Марат[21:18]: Завтра не смогу. Дела

Дэн[21:19]: Какие дела в воскресенье

Дэн[21:19]: а, завтра понедельник. Минусы безработной жизни, сорян, в днях путаюсь

Дэн[21:19]: ладно, загадочный ты наш. Не теряйся

Убираю телефон. Девять вечера. Неон мигает. Мотоцикл остывает, металл потрескивает, и каждый щелчок отдаётся в тишине.

Завожу мотор и еду домой.

Одиннадцать вечера. Квартира. Темнота.

Воды нет. Плановые отключения — объявление об этом висело почти неделю, но моя голова была занята не тем, и я попросту не заметил.

Не заметил белого листка висящего на темной двери подъезда на уровне глаз.

Я лежу на спине и смотрю в потолок, и потолок идеально ровный, без единой зацепки для глаз, и от этого мозг, ли-

шённый входящих данных, начинает генерировать свои.

Визг. Тонкий, сдавленный, животный. Звук, который издаёт существо, когда его тело подчиняется чужой воле, а не его собственной. Я заставил другого человека издать этот звук. Своими пальцами. С улыбкой на лице. И если бы Система 2 не перехватила управление в последний момент, если бы я не разжал пальцы, когда мышца выскользнула, — я бы продолжил давить. Я знаю это. Я знаю это так же точно, как знаю угол входа при мидл-кике, потому что в ту секунду, когда нерв вошёл в кость и Костян начал оседать, зверь внутри меня испытал нечто, от чего мне до сих пор тошно: облегчение. Наконец-то. Наконец-то ты дал мне что-то сломать.

Это она. Нет — я виноват. Она ни в чём не виновата. Она просто существует, ходит по залу, бьёт мешки, стягивает перчатки зубами, облизывает губы четырнадцать раз за тренировку, и от этого существования мой саркофаг трескается по швам, потому что он был рассчитан на определённую нагрузку, а она — превышает допуск.

Нужно увеличить дистанцию. Нужно вернуть её в статус рабочего контакта. Нужно перестать считать, сколько раз она облизывает губы, перестать провожать взглядом каплю пота от её виска к ключице, перестать фиксировать синяки на её рёбрах и перестать ломать людям нервные окончания, потому что кто-то сказал о ней грязное слово.

Я встаю. Включаю свет. Достаю телефон.

«Фаттахова М.»

Набираю текст. Стираю. Набираю снова. Стираю. Мои пальцы промахиваются мимо букв, и от этого в горле поднимается злость на самого себя, знакомая, привычная, почти уютная.

Третья попытка:

Марат[23:07]: Тренировки завтра не будет. Используй понедельник для восстановления. Мышцы в гипертонусе, особенно дельты и трапеция, — если не дашь им день покоя, к среде получишь микротравму. Не приходи в зал. Отлежись.

Две серые галочки мгновенно синеют. Почти полночь. Прочитано.

Телефон вибрирует через минуту:

Рина[23:08]: В СМЫСЛЕ

Агрессивный капслок.

Марат[23:09]: Я серьёзно. Дельтовидные и трапеция забиты, левая икра компенсирует правую после неравномерной нагрузки в пятницу. Один день — не каприз. Это профилактика.

Рина[23:09]: ты расписание меняешь за 9 часов до тренировки и ждёшь что я просто кивну???

Марат[23:09]: Я не жду, что ты кивнёшь. Я жду, что ты подумаешь головой, а не злостью.

Точки. Появляются. Пропадают. Снова появляются.

Она стирает и переписывает. Марина, которая бьёт наот-

машь, которая не фильтрует свою речь, мучительно подбирает слова. Для меня.

Рина[23:11]: какие объективные причины кроме моих мышц

Никакого капслока. Уже тише. Уже не кричит — спрашивает.

Марат[23:11]: Мне тоже нужен день, чтобы перестроить программу на следующую неделю. Я хочу начать работу над твоим клинчем, и для этого нужен план, а не импровизация.

Полуправда, которая звучит как целая. Мне действительно нужно перестроить программу. Но не поэтому я отменяю тренировку. Я отменяю её потому, что не доверяю собственным рукам рядом с ней. Потому что вчера эти руки парализовали человека за слова о ней, и мне нужны сутки, чтобы загнать зверя обратно в подвал и заложить вход мешками.

Рина[23:12]: то есть в зал вообще не приходить?

Марат[23:12]: Вообще. Сделай выходной. Выспись. Ешь белок и медленные углеводы. Пей воду.

Рина[23:13]: ты мне расписание питания будешь диктовать???

Марат[23:13]: Если ты не начнёшь есть нормально, да. Я задумывался об этом.

Минута тишины. Длинная, тягучая. Экран гаснет. Я смотрю на него. Он загорается снова.

Рина[23:14]: Что-то случилось?

Никакого капслока. Никакого рычания и упрёков. Два

слова, как будто она не спрашивает, а протягивает руку к закрытой двери и трогает её кончиками пальцев — осторожно, готовая отдёргнуть.

Я смотрю на эти два слова.

Правда звучит так: «Да, Марина. Случилось. Я парализовал человека из-за пары грязных слов о тебе. Мои пальцы нашли его нерв раньше, чем мой мозг успел отдать команду. Я улыбался, пока ломал его. Мне нужен день, чтобы заварить стену, которую ты случайно проломила, просто тем, что существуешь. Не приходи. Не потому, что твои мышцы в гипертонусе. Потому что я в гипертонусе. Потому что рядом с тобой мой контроль дырявый, как решето, и через каждую дырку лезет то, от чего я бегу на ста восьмидесяти».

Я набираю:

Марат[23:16]: Всё в порядке. Просто хочу, чтобы ты отдохнула.

Две длинные, глухие минуты. Я представляю, как она лежит в тёмной комнате и смотрит на экран, и её лицо в голубом свете мягче, чем днём. Спокойнее.

Рина[23:18]: ок

Телефон гаснет. Я кладу его на тумбочку, экраном вниз.



Глава 8. Рина: Раздевалка

Я не сплю до двух ночи.

Лежу на спине, Танька свернулась калачиком у меня под боком, её дыхание щекочет мне рёбра, ровное, мерное, и этот ритм обычно меня усыпляет, но сегодня не работает. В голове крутится одно слово, тупое, короткое, и от него во рту привкус железа.

«Отлежись».

Я перечитываю его сообщения в четвёртый раз, экран подсвечивает потолок мутным голубым прямоугольником, Танька ворочается, я прикрываю телефон ладонью, чтобы свет не бил ей в лицо.

«Не приходи в зал».

Приговор. Я прокручиваю их языком, как осколок стекла, пробуя на вкус каждый возможный смысл. Первый, очевидный: он разочарован. Он увидел мою технику, мои дыры, мой рефлекс бежать вправо, моё проваливание после промаха и понял, что тратит время. Что Миша ему наврал, или Миша был слишком добр, или Миша просто видел во мне то, чего нет, потому что длительное время рядом с человеком делают тебя слепым к его изъянам.

А Марат не слепой. Марат видит всё.

Второй смысл: я его достала. Моя грубость, мой яд, мои «засунь свои протоколы в задницу». Он вежливый, он выве-

ренный, он протирает линзы круговыми движениями и подбирает слова, как ювелир подбирает камни в оправу. А я влезаю в его пространство, как граната в витрину, с осколками по стенам. Он терпел неделю, а теперь устал. Устал, как устал Миша. Как устаёт от меня любой нормальный человек, потому что я ненормальная, потому что со мной невозможно, потому что я — собака, которая кусает руку, которая её кормит.

Третий: у него что-то случилось. И от этого варианта мне хуже всего, потому что я понимаю, что ничего о нём не знаю. Ни-че-го. Где он живёт. Есть ли у него семья. Друзья. Девушка. Кто-нибудь, кто звонит ему по вечерам и спрашивает «ты поел?». Он появляется в зале ранним утром и исчезает после моего ухода, и между этими точками его жизнь для меня — чёрный прямоугольник, непроницаемый, как экран выключенного телефона.

И мне не должно быть дела. Мне от него нужна техника. Точка.

Но «что-то случилось» стоит в моей голове, как заноза, которую не подцепить, и я ворочаюсь, и Танька сонно мычит, и я замираю, задерживаю дыхание, жду, пока она снова провалится в сон.

К трём ночи я прихожу к единственному выводу, который мой мозг готов принять: он слился. Красиво, вежливо, с медицинским обоснованием про дельтовидные мышцы и гипертонус. Обернул отказ в заботу, подвязал бантиком из

«ешь белок и медленные углеводы», и сидит сейчас дома, где бы это ни было, и пишет в блокноте: «Объект нестабилен. Прекратить контакт».

Миша сбежал. Марат слился. Схема работает.

Засыпаю в четвёртом часу. Сны рваные, бессмысленные. ринг, но вместо канатов колючая проволока, и Марат стоит за ней, без очков, и его лицо расплывается, как акварель под дождём, и я пытаюсь дотянуться, и шипы входят в ладони, и крови нет, только онемение.

Просыпаюсь от того, что Танькин будильник орёт мне в ухо. За окном серое мутное утро. Во рту сухо. Первая мысль, ещё до кофе, до умывания, до всего: он не ответил на мой вопрос.

«Что-то случилось?»

«Всё в порядке. Просто хочу, чтобы ты отдохнула».

Он ответил. Но не ответил. Он заткнул дыру ватой из слов, и я это чувствую, потому что сама так делаю каждый день. Когда Танька спрашивает «все нормально?», а я говорю «нормально», а внутри воронка, но ей двенадцать, и она не понимает, а если понимает, у неё нет сил копать глубже.

У меня есть.

Собираю Таньку в летнюю школу. Заплетаю ей косу криво, потому что руки ватные после четырёх часов сна, и она терпеливо сидит на табуретке и не жалуется, только один раз говорит «ау» на особенно резком рывке расчёски, и я бормочу «прости» и стараюсь нежнее, и пальцы слушаются через

раз. Мать на кухне жарит яичницу. Его нет, ушёл на смену. В квартире без него можно дышать, и я дышу полной грудью, и воздух всё равно пахнет его одеколоном, потому что запах впитался в стены, в обои, в линолеум, он здесь навсегда, как плесень.

Танька уходит. Я мою посуду, протираю стол, складываю Танькины учебники стопкой у кровати. Руки заняты. Голова свободна. Плохое сочетание.

Я сижу на кухне, пью вторую кружку растворимого кофе и смотрю в стену, и обои в цветочек, выгоревшие, с жирным пятном на уровне его плеча, потому что он облакачивается, когда разговаривает по телефону, и пятно растёт, и мать его не оттирает, потому что оттирать значит замечать.

Тело не знает, куда себя деть.

Оно привыкло, что в семь пятьдесят я уже в зале, что в восемь начинается скакалка, что в восемь двадцать пот стекает по вискам, и всё ровно, и всё на рельсах, и мышцы заняты, и голове некогда жрать саму себя. А сейчас мышцы молчат, и голова жрёт, и квартира давит, и потолок низкий, и стены близко, и я не могу здесь находиться.

Не могу.

Решение приходит само, как толчок. Физический, в солнечное сплетение. Подъём, кружка в раковину, кроссовки, рюкзак.

Я еду заниматься. Сама. Без него. Скакалка, мешок, обычная тренировка. Я и до него справлялась, и без него справ-

люсь.

И если его там не будет, я убежусь, что он слился, и можно будет злиться спокойно, без этого идиотского червяка в груди, который шепчет «а вдруг нет, а вдруг правда что-то случилось».

В маршрутке снова открываю его сообщение. Перечитываю. Мышцы в гипертонусе, особенно дельты и трапеция. Он прав. Мои плечи ноют, и левая икра тянет, и я это знала, и он это знал, и то, что он знает моё тело лучше меня, бесит так, что хочется выковырять из себя каждую мышцу, о которой он когда-либо упоминал, и швырнуть ему в лицо: на, забирай, раз тебе виднее.

Двери спорткомплекса открыты. Понедельник, без пятнадцати восемь, зал пустой. Гимнасток нет. Костян не объявился. Тишина, гул кондиционера, утренний свет лежит на полу длинными жёлтыми прямоугольниками.

Марата нет.

Я обхожу зал. Ринг пустой, канаты провисают. Стойка с перчатками на месте. Скамейка у ринга, где он обычно сидит с блокнотом, пуста. Ни ручки, ни блокнота, ни забытой бутылки воды. Чисто. Стерильно. Как будто его здесь не было.

Ну вот и всё.

Я стою у этой пустой скамейки, и внутри медленно поднимается что-то густое. Я не сразу понимаю, что это не злость. Злость я знаю в лицо, злость моя родная сестра, мы выросли в одной комнате. Это другое. Холоднее и тяжелее. Оседает

между рёбрами и не даёт вдохнуть.

Тренерская. Деревянная дверь с табличкой «Персонал». Стучу. Тишина. Дёргаю ручку. Закрыто.

Стою перед дверью и слышу, как колотится пульс в ушах. Можно развернуться. Можно уйти. Можно размотать скалку и прыгать в пустом зале и сделать вид, что пришла заниматься, а не искать его.

Коридор уходит вправо, мимо кладовки с матами, мимо щитка с электрическими предохранителями. Раздевалки в самом конце: женская слева, мужская справа. Серая металлическая дверь с вентиляционной решёткой внизу.

Я дёргаю ручку. Не заперто.

Внутри свет горит. Длинная узкая комната, ряд металлических шкафчиков слева, деревянная скамейка посередине, зеркало в полный рост на дальней стене, запотевшее по краям. На скамейке аккуратно сложена одежда: чёрная футболка, серые спортивные, белые кроссовки выставлены параллельно, носок к носку. Рюкзак на крючке. На полке над шкафчиком лежат очки. Тонкая металлическая оправа. Линзы поблёскивают.

Его вещи.

Узелок внутри развязывается и я снова могу вдохнуть полной грудью. Он здесь.

Точнее не так. Его вещи здесь, а его нет, и мозг застревает именно на этом. Вещи. Здесь. Очки на полке. Его нет.

Вещи. Очки.

Дверь за зеркалом открывается.

Пар выкатывается первым, густой, горячий, мгновенно оседающий на моём лице мелкой влагой. А за паром выходит он.

Босые ступни на мокром кафеле. Белое полотенце на бёдрах, обмотанное низко, небрежно, так, что видны ямочки над крестцом и косые мышцы живота, резко очерченные, уходящие вниз двумя линиями, как стрелки, которые указывают на то, что скрыто тканью. Капли воды на коже. На плечах, на грудных мышцах, на предплечьях. Белые волосы мокрые, зачёсаны назад, и без прядей, которые обычно падают на лоб и на оправу, его лицо открытое, незнакомое.

Без очков.

Он останавливается. Смотрит на меня.

И я понимаю, что никогда не видела его глаза. Я видела линзы. Стёкла, за которыми что-то светило ровно, контролируемо. Сейчас стёкол нет, и глаза другие: серые, но не спокойные, не ровные, а подвижные, живые, с тёмными кольцами вокруг зрачков, и зрачки расширены, потому что из ярко освещённого душа он вышел в полутёмную раздевалку, и его взгляд перестраивается, адаптируется, ищет фокус, и в эту секунду перестройки он мягче, чем я ожидала, и опаснее.

Он не успел собраться.

Я поймала его в момент, когда фасад ещё не надет, когда мягкие улыбки и вежливые кивки лежат где-то рядом с очками на полке, а на их месте голое лицо, без единого выве-

ренного угла. Скулы острее. Линия челюсти жёстче. Рот расслаблен, губы чуть разомкнуты от пара, и от этого он выглядит моложе и одновременно старше.

Он шагает ко мне.

Не останавливаясь, не тормозя, не выстраивая дистанцию, которую он выстраивает всегда. Просто идёт, босиком по мокрому кафелю, и его походка не бойцовская и не выверенная, она мягкая, расслабленная, как у человека, который ещё внутри тёплой воды и не выбрался на берег. Он подходит близко. Очень. Я чувствую жар от его кожи, влажный, густой, пахнущий мылом и кедром.

И я вижу, как он вдыхает.

Не быстро, не скрывая. Медленный, глубокий вдох всей грудью, грудная клетка расширяется, рёбра расходятся под мокрой кожей, и он вдыхает воздух рядом со мной, мой воздух, мой утренний кофе, мой дешёвый цитрусовый шампунь. Вбирает в себя и молчит. И на выдохе его веки чуть опускаются, на полсекунды, как у человека, который попробовал что-то и пытается определить вкус.

У меня отнимаются ноги.

— Я думал, это мужская раздевалка, — говорит он без единой ноты удивления. — Я что-то перепутал?

Я мотаю головой, потому что это все, что я сейчас могу, потому что мой голос куда-то пропал, улетучился в момент, когда открылась дверь душевой.

— Часто ты врываешься в мужские раздевалки? — спра-

шивает он.

Голос другой. Ниже. Глуше. Без стерильной обёртки, без выбранных заранее слов. Он говорит из горла, не из головы, и от этого голоса у меня по рукам бегут мурашки.

— Я не врывалась, — мой голос сиплый, как после долгого крика. — Дверь была открыта.

— Дверь в мужскую раздевалку. Которая была открыта не для тебя.

Он стоит в полуметре. В полотенце на мокрых бёдрах, и капля скатывается по его ключице, по грудной мышце, замирает на соске, и я вижу пирсинг.

Стержень. Стальной, короткий, с маленькими шариками-замками на концах. Капля задерживается на металле, свисает, срывается. Второй сосок, второй стержень, симметрично, и сталь блестит в мокром свете ламп, и металл движется вместе с его дыханием, впаянный в живую плоть.

Я забываю, зачем пришла.

Я забываю про «слился», про «разочарован», про Мишу, про бинты, про углы, про блокнот. Мой мозг опустел, как выбитый ударом зал, и в этой пустоте висит одна-единственная картинка: его грудь, мокрая, рельефная, и сталь в сосках, и капли, и полотенце.

— Ты... — начинаю и осекаюсь. У меня нет слов. Вообще нет. Я, которая за словом в карман не лезу, которая Костяна укладывала одной фразой, стою и открываю рот, и в этом рту пусто.

— Я, — подтверждает он.

— Ты написал «не приходи».

— А ты пришла.

— Ты тоже здесь.

— Я здесь, потому что горячая вода в моём доме отключена. А ты здесь потому что не умеешь слушать, когда тебе говорят отдыхать.

— Я не умею отдыхать.

— Знаю.

Он по-прежнему близко. По-прежнему в полуметре. По-прежнему пар поднимается от его плеч, от его волос, и в этом паре его лицо без очков острое и одновременно размытое по краям, как карандашный рисунок, по которому провели мокрым пальцем.

За его плечом, в зеркале, я вижу его спину.

Татуировка.

Меч. Длинный, тонкий, с прямым обоюдоострым клинком, идеально вписанным в линию позвоночника. Остриё теряется у поясницы, под краем полотенца. Рукоять упирается в основание шеи. На перекладине гарды, которая ложится поперёк лопаток, висят весы. Две чаши на тонких цепях. Левая пуста. Правая тяжелее, оттянута вниз, и в ней черная жидкость.

— У тебя и партак есть, — говорю я, потому что это единственное, что выдаёт мой мозг, и голос звучит глупо, по-детски.

— Партак, — повторяет он.

И улыбается.

Не той фарфоровой улыбкой, которую я ненавижу. Другой. Кривой, неровной, живой. Один угол рта поднимается выше другого, и от этого перекося его лицо ломается пополам: одна половина почти мягкая, другая острая. Морщина у правого глаза. Улыбка закрытая, сжатая, как будто ему больно улыбаться и приятно одновременно.

Он закрывает глаза. На мгновение. Ресницы мокрые, тяжёлые, длинные.

Открывает глаза. Серые, с расширенными зрачками, с тёмными кольцами, подвижные, и в них что-то, от чего у меня пересыхает рот.

— На ринг же нельзя с железом, — говорю я, и мой взгляд падает на его грудь, на стержни, непроизвольно, и я ненавижу свои глаза за то, что они делают это сами.

— Мы сейчас не на ринге, Фаттахова. Мы сейчас в мужской раздевалке.

Голос скользит по мне, от ушей вниз, по шее, по позвоночнику. Я сглатываю. Громко. Он слышит.

— Зачем ты отменил тренировку, — говорю я, и это не вопрос, а требование, и я задираю подбородок вверх, потому что он выше, потому что мне приходится смотреть снизу, а снизу видно его подбородок, его шею, его ключицы, его грудь, и сталь, и капли. — Правду.

— Я тебе сказал правду. Тебе нужен отдых.

— Мне этого недостаточно. Скажи честно. Ты слился.

Он молчит. Я вижу, как под кожей на его челюсти перекатывается желвак.

Между нами полметра горячего воздуха, и его лицо без маски, и в серых глазах нет спокойствия. Ни капли. Вместо него что-то тёмное и подвижное, а сам он не двигается, и не отступает, и меня это парализует, потому что я привыкла, что мужчины вокруг меня либо наступают, либо убегают, а он не делает ни того, ни другого. Он стоит и позволяет мне видеть его. Без очков, без защиты. Мокрого, настоящего, чудовищно красивого и чудовищно опасного.

Я делаю то, чего никогда не делала в жизни.

Я смотрю на его тело.

Быстро, воровато. Не так, как я оцениваю физическую подготовку. Совсем не так.

Глаза соскальзывают сверху вниз: шея, ключицы, грудные мышцы с каплями и сталью, впадина солнечного сплетения, прямая мышца живота, поделённая на рельефные блоки, борозда посередине, которая уходит вниз, и тёмная дорожка, и край полотенца, и косые мышцы, и линии бёдер, и я возвращаюсь наверх, к его лицу, потому что дальше вниз нельзя, дальше вниз я умру.

Он наблюдает. Из-под опущенных ресниц, мокрых, тяжёлых, он следит за движением моих глаз по своему телу, и его взгляд весомый, я физически ощущаю его на своём лице, как прикосновение. Уголок его рта дрогнул. Едва заметно.

— Можешь смотреть, — говорит он тихо.

Кровь ударяет мне в лицо. Горячая, густая волна, от шеи к щекам, к ушам, и я чувствую, как краснею, я чувствую каждый миллиметр своей залитой кровью кожи, и я ненавижу своё лицо за то, что оно предаёт меня, и ненавижу его за это «можешь», произнесённое негромко и без усилия, как будто он разрешил мне взять со стола стакан воды.

Но я смотрю.

Мои глаза возвращаются к его груди. К стержню в левом соске, к каплям на металле, к тому, как сталь и кожа срослись в одно. К рельефу грудных мышц, которые при каждом вдохе натягиваются и расслабляются, и от этого стержни чуть двигаются, чуть поблёскивают. К синяку на правом ребре, старому, зеленовато-жёлтому, от спарринга. К тонкому белому шраму ниже, длиной в ладонь.

Я закусываю губу.

Не специально. Я никогда в жизни не закусывала губу специально, это было бы пошло и жалко, но сейчас зубы впиваются в нижнюю губу сами, рефлекторно, потому что рот нужно чем-то занять, иначе из него вырвется звук, а какой звук, я даже думать не хочу.

Он видит.

Его ресницы опускаются на миллиметр ниже. Его глаза из-под них серые, тёмные, затопленные зрачком, и он смотрит на мой рот, на мои зубы на нижней губе, и его взгляд задерживается там, на секунду, и мне кажется, что эта секунда

длится неделю, и в этой неделе я проживаю больше, чем за последние двадцать лет.

— Я не слился, — говорит он. Голос ещё ниже. Ещё глуше. Он почти не шевелит губами, и от этого слова звучат интимно, как будто сказаны в самое ухо. — Я не разочарован. И я не Миша.

Он знает. Он знает, что я думала именно это. Что всю ночь перебирала варианты, и самый страшный из них был не «он бросил», а «он бросил, как бросил Миша». Он прочитал мой страх, как читает мои удары, до того, как я сама его сформулировала.

Мне нечего ответить. Во рту пустыня. Я стою, и он стоит, и между нами пар, и мокрый кафель, и его тело, и моя кожа, горящая под одеждой.

Он отступает. Наконец. Отступает на шаг, и этот шаг ощущается как удар, как будто из меня вынули что-то тёплое и оставили дырку, и воздух, который занял его место, холодный и пустой.

Он открывает шкафчик. Достает футболку. Перекидывает через плечо. Оборачивается ко мне.

— Если хочешь что-то обсудить, будет лучше, если мы оба будем одеты, — говорит он, и его голос звучит глуше. — Подожди снаружи. Если не планируешь смотреть, как я переодеваюсь.

Я отворачиваюсь. Резко, всем телом, как от удара, и иду к двери. Ноги ватные, кроссовки скользят по мокрому полу,

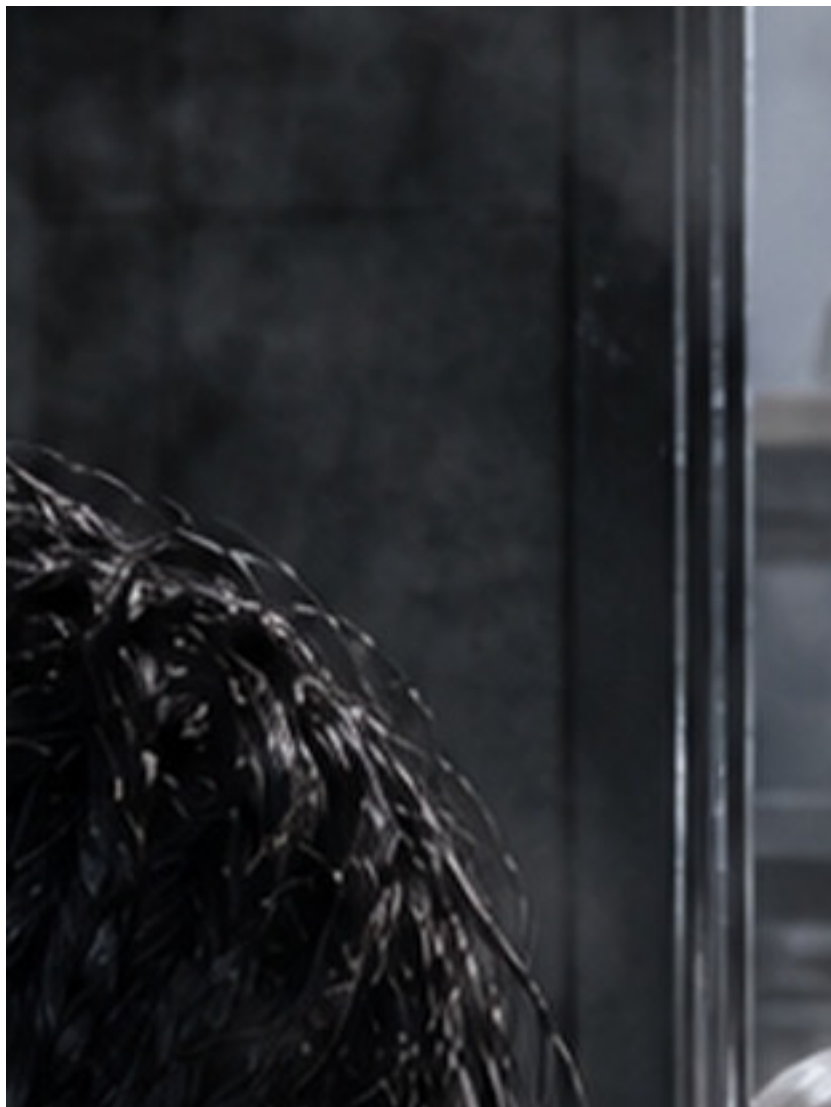
и я хватаюсь за косяк, чтобы не споткнуться. Я выхожу в коридор и захлопываю дверь за собой.

Коридор холодный. Прохлада бьёт по горящему лицу, по шее, по рукам. Я прислоняюсь спиной к стене, затылком в бетон, и дышу. Рот открыт. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Глаза закрыты, и перед закрытыми глазами: мокрая грудь, сталь в сосках, кривая улыбка, серые радужки без стёкол, «можешь посмотреть», и голос, его голос без обёртки, из горла, из нутра.

Меня трясёт.

Но не так, как обычно. Не тремор. Не мелкая предательская дрожь в пальцах, которую я прячу в карманы и ненавижу каждой клеткой.

Это крупная, полная, от плеч до колен вибрация, как после финального гонга, когда адреналин выходит из тела разом и ты стоишь в углу ринга и колотишься, не от страха, не от боли, а от того, что ты только что был настолько живой, насколько не бываешь никогда.



Глава 9. Марат: Термодинамика

Дверь захлопывается, и звук разносится по раздевалке как пощёчина.

Я стою у шкафчика. Футболка на плече, капли с волос стекают по лопаткам, и каждая капля оставляет холодную дорожку, которую я чувствую отчётливее, чем должен, потому что все рецепторы выкручены до предела, все до единого, и каждый квадратный сантиметр кожи помнит, как она на него смотрела.

Руки упираются в холодный металл шкафчика. Лоб ложится на тыльную сторону кулака.

Полотенце на бёдрах больше ничего не маскирует.

Я опускаю взгляд и вижу то, что она, слава любому существующему и несуществующему богу, не увидела: ткань натянута, оттопырена, и мой член стоит так, как не стоял давно, твёрдый, тяжёлый, пульсирующий в унисон с ударами сердца, которые бьют где-то в горле, в висках, в паху одновременно. Эрекция пришла не в момент, когда она вошла, не когда увидела пирсинг, не когда закусил губу. Она пришла, когда её щёки залило краской и она не смогла это скрыть. Когда её тело, натренированное прятать всё, впервые не справилось, и сквозь все её баррикады проступил румянец, горячий, тёмный,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.